

84P7(2P-4Кем)

O-38

Ф30855

1967, №1(18) ★
ОТНИ
КУЗБАССА



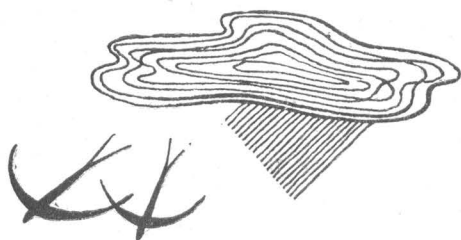
2022/

XP

Хр(ар)

0-38

ОГНИ КУЗЬБАСЯ



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ
ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР



393067

Кемеровское книжное
издательство

Кемеровская областная
научная библиотека
Основной фонд
№ Ф 30 855

№1(18) 1967

В НОМЕРЕ

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Доброго пути в большую литературу!	3
В. ЧУГУНОВ. Сибириада. Рассказ	5
А. САУЛОВ. Яя. Россия снежная. Стихи	16
В. ЮРЕЧКО. Ладушки. Стихи	17
С. СУХАРЕВ «Вещи долговечнее хозяев...» Стихи	17
В. СИЛАКОВ. Прощай, экзотика! Повесть	18
Г. КРУГЛЯКОВ. О человеке. Дождь в Кузбассе. «В скалы бьет река...» Стихи	56
В. ПОЧВЫРНЫЙ. Мечтаем! «Мальчишки жаждут...» Высота. Стихи	57
Э. УГРЮМОВ. «Синие глаза у русских, синие...» «Бывает чувство странного затишья...» Табунщик. Стихи	58
П. МАЙСКИЙ. «Когда вы совершите подлость...»	59
В.ВЛАСОВ. Отряд идет на Каным. Из дневника геолога	60
П. ШМАКОВ. Осенний отпуск. Рассказ	80
В. ВОЛОДИНА. Короткие рассказы	84

К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В. КАДЕЙКИН. История одного поиска	89
--	----

НАШИ СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

А. МАЗЮКОВ. Герой поэмы — кольчугинский шахтер	96
Медсестра из легенды	98

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Т. ШАТСКАЯ. Телеграмма. Бабка. «Хочу домой». Косули. Награда.	101
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

М. НЕБОГАТОВ. Слово о молодых	104
---	-----

САТИРА И ЮМОР

Н. САМОХИН. Котиковая шубка. Ненормальный. Лето на веревочке	109
Е. БУРАВЛЕВ. Семь раз отмерь. Стихи	113

КОПЫТО ПЕГАСА

В. МАТВЕЕВ. Воробей о соловье. Истина рождается в споре. Ретивое на ладони. Вдумчивый читатель. Видения на верхнем шестке. Сибирские масштабы. Объективно о детективе	114
---	-----

ДОБРОГО ПУТИ В БОЛЬШУЮ ЛИТЕРАТУРУ!

Их было всего семь из трехсот шестидесяти пяти, но необычайно насыщенных, наполненных, незабываемых дней.

С 31 мая по 7 июня 1966 года в Кемерове проходил семинар молодых писателей Урала и Западной Сибири. Это были горячие рабочие дни со своими радостями и горестями, спорами и дискуссиями, поисками и находками. Это были и торжественно праздничные дни с присутствиями каждому большому празднику атрибутами — от приветственных лозунгов до новых песен и громких аплодисментов.

Кузбасс встречал тогда Леонида Соболева, Ярослава Смелякова, Сергея Антонова, Василия Федорова, Франца Таурина, Антонину Коптяеву, Ивана Падерина, Галину Колесникову, Леонида Иванова, Анатолия Никулькова, Виктора Астафьева... Да пусть не обидятся на нас другие поэты и писатели, которых мы здесь не назвали, — ведь, образно говоря, к нам в гости приехала вся литературная Россия. Старшие товарищи ступили на землю Кузнецкую, чтобы помочь своим молодым собратям по перу советом и делом, встретиться с читателями городов и сел Кузбасса.

— Год назад, — сказал на итоговом пленарном заседании секретарь правления Союза писателей РСФСР Франц Таурин, — мы радовались успеху читинского семинара. И вот новая встреча. Без всякого преувеличения можно сказать, что она была очень своевременной, содержательной и полезной.

На семинаре обсуждалось творчество более чем пятидесяти молодых прозаиков, поэтов, драматургов и сатириков Урала и Западной Сибири. Самой представительной на семинаре была группа литераторов Кузбасса. Кроме двенадцати официальных участников, имеющих на руках по несколько изданных книжек, были и приглашенные — те, кто уже заявил о себе в периодической печати и готовит первые свои книги.

Участники не подвели — их творчество по достоинству оценили на семинаре. К изданию в Москве рекомендованы книги Геннадия Емельянова, Анатолия Яброва, Виктора Гюнтера. Полностью оправдались надежды кемеровской писательской организации и в отношении приглашенных. Поэт Дмитрий Ковалев в своем выступлении на заключительном совещании заметил даже, что стихи этих молодых, самых молодых, авторов подчас куда значительнее и глубже, чем произведения отдельных поэтов, уже имеющих на своем счету не один выпущенный сборник стихов. В частности, очень много добрых слов было сказано

в адрес Игоря Киселева — поэта, со стихами которого вы уже встречались на страницах нашего альманаха и чей первый сборник, рекомендованный семинаром к изданию, увидел свет в прошлом году.

«Интересный, просто интересный поэт», — так сказал о творчестве кемеровского журналиста Анатолия Саулова наш крупнейший поэт Ярослав Смеляков. Высокую оценку получили стихи Виктора Чурилова, слесаря из Юрги, новокузнецанина Павла Майского, пародии Валерия Фесенко, электрослесаря из Киселевска. Но фаворитом среди приглашенных оказался горный инженер из Междуреченска прозаик Виктор Чугунов. Его рассказ «Локомобиль», опубликованный в спецвыпуске «Литературная неделя Кузбасса», очень взволновал такого известного рассказчика, как Сергей Антонов. «Перспективным» автором был признан и Валентин Силаков, сотрудник кемеровской районной газеты, представивший на семинар свою первую повесть.

Чем же взяла молодая поросль кузбасской литературы, в чем секрет ее успеха на столь представительном семинаре? Ответ, думается, один: молодые авторы пришли в литературу не со школьной скамьи, за не ахти какие прожитые годы уже многое успели повидать, сойтись со всеми перипетиями нашей сложной жизни, как говорится, впритирку и о многом, конечно, подумать. Темы их произведений не взяты с потолка и не высосаны из пальца. Они пишут о пережитом, увиденном своими глазами, говорят о том, что им по-настоящему дорого, что волнует, заботит и беспокоит их.

Деталей, которыми насыщена повесть Валентина Силакова «Прощай, экзотика!», характеров, которые в ней выведены, при любом таланте и воображении художника придумать нельзя. То же можно сказать и о рассказе Виктора Чугунова «Сибириада». Первый, прежде чем взяться за перо, немало поработал на трапезниках-краболовах, хлебнул лиха, второй и сейчас работает на одной из шахт Междуреченска.

Кроме этих произведений, которые мы предлагаем читателям нашего альманаха, вы найдете произведения авторов, чьи имена вам еще не встречались или почти не встречались на страницах печати.

Дневник геолога Владимира Власова нельзя назвать художественным произведением, да автор на это и не претендует. Читается же этот дневник благодаря подлинности, документальности событий и записей, сделанных по следам первых впечатлений, с большим интересом.

У восемнадцатилетнего библиотекаря Веры Володиной жизненного багажа, как сами понимаете, пока еще немного. Но есть у Веры одно замечательнейшее для молодого начинающего литератора качество — она умеет удивляться. И это свое радостное удивление по поводу, казалось бы, совсем незначительных событий она умело передает в своих небольших рассказах и миниатюрах.

Поэты же выражают свое удивление, свою мечту и свою ненависть к тому, что мешает нам подчас жить и строить, стихами. Стихами, написанными рабочей рукой, умеющей держать и перо, и инструмент, и штурвал. Многое можно сказать о геологе Геннадии Крутляковой из Ленинска-Кузнецкого, о слесаре-монтажнике с Томь-Усинской ГРЭС Владимире Почвырном, о новокузнецких инженере-металлурге Павле Майском и журналисте Эдуарде Угрюмове, бывшем монтажнике запсибовской ТЭЦ, но пусть за них скажут их произведения. Главное, что все они очень молоды и стоят на верном жизненном и творческом пути.

Пожелаем им дальнейших успехов!

ВИКТОР ЧУГУНОВ

СИБИРИАДА

рассказ

Я протянул ему руку:

— Владимир.

А он ответил:

— Лебедев.

Жестко, будто знакомился со мной не механик участка, а Бонапарт. Надо было процедить сквозь зубы: «Сергеев». Пусть бы он тогда тряс мою руку и признавался, что он не кто иной, как механик Лебедев.

Лозовский, начальник участка, нестати уточнил:

— Техник... Работать у нас будет...

Будто без него не было ясно.

Мы стояли на конвейерном штреке. Далеко впереди маячили огоньки работающих монтажников.

— Имей в виду, Евгений Михайлович, — напомнил шеф, — надо сегодня закончить оборудование штрека. Как хочешь, а...

Я уверен, Лебедев не однажды слышал подобное предложение. Он резко вскинул голову и ответил так же жестко, как и мне:

— Знаю.

Ему можно было дать лет двадцать пять.

— Молодец парень! — сказал Лозовский, когда мы отошли. — Огоны!

Мне вспомнился техникум. Борька Сазонов — улыбочка. Он растил рыжую бороду, купил желтый свитер, форсил — мать моя родная! Или Славка Роджерс — гигант, морской волк. А Фазалов? Это же ум! Библиотека!

А Юнка? Она красива, как Венера! Если бы ее направили на международный фестиваль молодежи и студентов, она бы привезла корону самой красивой девушки мира.

— Возьмешь меня замуж? — пошутила Юнка в тот вечер, когда я решился сделать широкий шаг — на передовую, в Сибирь.

— Охотно, — согласился я.

— Не говори так сразу, это плохо...

— Почему плохо?

— Когда сразу говорят, не берут...

Мы целовались. Она обтерла спиной побеленную стену тихого подъезда и ушла домой разлохмаченная, красная, с набухшими усталыми губами.

Юнка — девочка из сказки.

А здесь что? Только тайга и небо. Баня — сегодня мужская, завтра женская. Единственно порядочное место — речка. Ляжешь на горячую гальку, смотришь в небо и вспоминаешь Юнку.

...Я лежал на гальке и наблюдал, как детвора прыгала в воду с метровой вышки. Недалеко торчала другая — метра четыре. Но там обмелело, и прыгать никто не решался.

Вдруг я заметил: на большую вышку полез человек. И я тотчас узнал его. Лебедев! Он же свернет себе голову!

Лебедев, не торопясь, поднялся, сделал два ровных шага по затрепетавшей площадке...

— Безумству храбрых... — услышал я.

Тело его вытянулось и полетело в воду.

В первый же день моей самостоятельной работы он подошел ко мне и неожиданно тепло сказал:

— Думаю, скандалить не будем... Чтобы электромеханическое хозяйство было в порядке.

Я еще не забыл его высокомерного «Лебедев» и напомнил, что, как это ни странно, в двадцатом веке, встречаясь, принято здороваться. Он согласился.

— И потом: ты институт закончил? — спросил я.

— Техникум.

— Значит, мы учились по одной программе?

— Вполне возможно...

— Поэтому кое-какие свои обязанности я смогу выполнить без твоего указания.

— Мне нравятся люди с характером, — признался Лебедев.

Он не обиделся. Скорее наоборот: рука его дружески скользнула по моему плечу.

Мне кажется, если Лебедев — земля, то я — небо, если Лебедев — небо, то я, наоборот, — земля.

— Вы оба механики, — сказал Лозовский.

Шефу, как петуху — прокукарекать, а рассвет будет или нет, не его дело. Он принес новую схему автоматической конвейерной линии и потребовал, чтобы мы разобрались.

Лебедев с полчаса терпел мое присутствие, потом капризно спросил:

— Ты устройство ВИРсов знаешь?

Будто он знал!

У Лозовского заходили брови. Он нацелился на меня маленькими злыми глазами, ковыряясь в каждой клеточке моего тела, подобно неопытному хирургу.

А Лебедев прямо заявил:

— Иди в шахту: ты нам не поможешь...

Я презрительно усмехнулся, молча встал и вышел.

Все началось именно с этого — мои коллеги не пожелали меня признавать. Впрочем, это естественно. Кто поверит, что должностные кресла уступают по доброй воле?

В тот же день на комбайне не стало энергии. Дементьев, рыжий толсторожий парень, двусмысленно улыбаясь и облизывая губы, пригласил меня к аппарату:

— Пожалуйста, товарищ начальник...

Я бы ликвидировал аварию... Сам! Своими руками. Неспешно. По-

размыслив. Но на меня смотрело тридцать чужих глаз, нетерпеливых, любопытных, насмешливых, хмурых, злых, желающих от меня одного, чтобы я бессильно развел руками, поднялся и отошел от этого хитросплетенного аппарата, и они бы подняли меня на смех. Все они удивительно точно повторяли Лебедева. Я это видел, чувствовал, волновался и не мог вспомнить электрическую схему «Фидера».

А через неделю вышел из строя штрековый конвейер. Авария на всю смену. А меня не оказалось на месте: я ушел посмотреть другие шахтовые участки.

Аварии не устранили. Встретив меня, Лозовский поморщился и как бы невзначай бросил Лебедеву:

— Сорвали смену... Ты же был в шахте. Надо было организовать. Как хочешь, а...

Лебедева в шахте не было, но он промолчал, только покосился на меня, будто назвал сопляком.

...Ночью мне снилось: мы встретились с Лебедевым на ринге. Юнка сидела в первых рядах и кричала мне прямо в уши:

— Давай его, Володя, давай...

Я разделался с ним, как хотел. Глаза его заплыли, уменьшились, гордый блеск их потух, сам он обессилел, качался передо мной подвешенным мешком, набитым опилками.

И Юнка кричала мне:

— Давай его, Володя, давай...

Хорошо иметь первый разряд по такому необходимому виду спорта.

Всего не припомнить, было много. Где-то не мог, где-то не хотел. Потом несколько раз засыпал на сменах: снова занявшись спортом, выматывался на тренировках. И бригада заголосила:

— Нам такого руководителя не надо...

А бригадир, устало навалившись на стол, подсказал:

— К нам в бригаду месяцев на шесть — человеком станет.

Лозовский уткнулся в книгу нарядов и не подал за меня голос. Я заполнял путевку. Руки мои тряслись. Буквы никак не получались такими, какими я привык их видеть.

— Не волнуйтесь, молодой человек, — снова сказал бригадир, — я людей знаю. Для пользы дела говорю.

После наряда меня задержал Лебедев.

— Слушай, Володя, я сегодняшний эксцесс не беру во внимание. Но на тебя ежедневно жалуются. Чувешь? Может, помочь?

Он смотрел на меня круглыми глазами. Взгляд его был добрый и мягкий, словно он пытался меня расшевелить, вызвать на откровенность.

Но, по-моему, это только казалось. Его скуластое лицо выражало надменное превосходство. Рот его чуточку косил, временами вздергивалась верхняя шершавая губа, и тогда выщеливался на меня белый, острый, опиравшийся на стальную коронку клык.



Дерзкая моя улыбка взбесила его.

— Я секретарь участковой партийной организации, — жестко сказал Лебедев.

— Не думаешь ли ты, что в силу этого у тебя увеличились воспитательные способности?

— Слушай, Володя, на мне ты не испытываешь силу своего юмора...

А через полмесяца рыжий Дементьев попытался надо мной подшутить. Я затащил его в нишу и, ни слова не говоря, заехал по физиономии. Он взмахнул руками и упал. Наклонившись над ним, медленно, чтобы он дольше помнил, прошептал:

— В следующий раз тебя будут выносить на носилках, а сегодня ты еще встанешь.

А на другое утро Лебедев, упрямо наморщив лоб, с подчеркнутым удовлетворением прочитал:

— Партийная организация выражает недоверие Сергееву как руководителю...

Бригада безоговорочно одобрила, а я сидел, сжавши челюсти, и смотрел в пол.

В тот же вечер я с ним встретился.

— Ну, что, Евгений Михайлович? Когда на работу выходить?

— Оттягивать не стоит, Володя, лучше завтра... Такелажником. Я стоял перед ним и наслаждался.

— Завтра, говоришь?

Он, удивленный, отступил от меня. Какое же это чудесное мгновение, когда до человека доходит, что я его буду бить. Глаза его вдруг перестали быть круглыми, губа вздернулась, и весь он нахохлился, как замерзающий воробей.

— Когда идешь на такое дело, не надо пить, — услышал я его неожиданно уверенный голос.

— Это мне не помешает, — заверил я.

— Это мне помешает.

Он резко отпрыгнул в сторону. Мне показалось, что это попытка бегства. «Подлый ты трус!» — закричал я и метнулся за ним. Если бы я его ударил, он бы очнулся только на другой день. Кажется, до его рожи оставалось несколько сантиметров, но он ловко перехватил мою руку, я взвился над ним и повис. А дальше, будто во сне, — куда-то летишь и летишь.

Когда я пришел в себя, Лебедева не было. В глаза мне смотрели насмешливые холодные звезды. Они без конца мигали, точно далеко вверху их тушил звездный ветер. Я лежал на спине и долго не мог понять, что же такое произошло и почему мне больно пошевелиться?

Кончилось лето, прошла осень...

Я, мечтавший увидеть и украсить Сибирь, такелажник четвертого разряда. Лупоглазый Лебедев — мой начальник. Я шесть дней без устали творю: мне положено перетаскивать с места на место все тяжелое и большое.

Хорошо, что радовала письмами Юнка.

С каждой строчки рвалось — скушает, помнит наши милые вечера, когда мы оставались вдвоем, намекает на ухаживания симпатичных ребят. Потом о музыке. Ее слушал профессор Стрельников. Она исполняла свои вариации. Стрельников хвалил и советовал заняться музыкой

основательно. Она берет уроки по композиции и мечтает написать такое, чтобы запел весь Союз.

И в каждом письме — что-то теплое и неясное.

В тот вечер мы с мальчиками сидели в бараке-ресторане и веселились. Колька Воронцов, мой сосед по комнате, уговаривал меня не пить. «В тебе умрет боксер», — шепелявил он. «Это неважно, что во мне умрет боксер, — пьяно возражал я. — Я же человек, а человеку свойственно веселиться».

Я едва добрался до общежития и потом, стоя под яркой лампочкой в коридоре, читал Юнкину телеграмму. Милая Юнка все бросила и летит ко мне. Это чудесно, Юнка. Я соскучился по тебе. Здесь нет ни одного порядочного человека, чтобы поговорить, посидеть. Здесь одни Лебедевы, одни Лозовские, высокомерные и однобокие.

Я свалился на холодный щелястый пол и не помню, как меня положили на кровать.

Юнка приехала в купейном вагоне. Вышла с двумя чемоданами, бросила их на землю и повисла у меня на шее. Губы ее были мягкими, мятными, щеки теплыми, пахнувшими духами. Я готов был раздавить ее. А она, наверно, тоже много думавшая об этой встрече, потонула в ласке, что-то шептала и никак не хотела разжать руки.

Вечером мы гуляли по городу. Казалось, ко мне снова вернулся мир, в котором я когда-то жил, который нравился мне и который делал меня счастливым. Юнка рассказывала о себе, и я слушал ее, а когда никого на улице не было, ловил ее и целовал в губы.

— Насовсем?

Она останавливалась, приваливалась к стене и смотрела так, что у меня перехватывало дыхание.

— Ну, а чем будешь заниматься?

— Музыкой, Володя... А что, плохо?

И продолжала смотреть. Я прижимался к ней, и сжигающая сердце радость одурманивала меня и жгла.

— Где жить будете? — спросил Лозовский. — Как хочешь, а квартира пока нет.

Я, такелажник четвертого разряда, техник по образованию, стоял перед ним, тоже техником, и не мог понять, что его приподняло над мной?

— Ерунда, Александр Степанович, — подошел к столу Лебедев. — Поздравляю, Володя. — Он повернулся ко мне и протянул руку. — Можешь ко мне. Тащи свою зазнобу, а я на кухню махну.

Он был при галстуке, в белой рубашке и умело отглаженных брюках.

— Желая тебе быть счастливым. Где она у тебя?

— В общежитии... Где ей быть...

— Переселяйтесь. Ключ возьми. Александр Степанович, думаю, освободим его от работы?

Лозовский поспешно согласился, поздравил меня и пообещал:

— На квартиру будет первая очередь. Только не забудь меня на свадьбу кликнуть. — И засмеялся.

Маленькая полупустая квартира Лебедева произвела на Юнку чудесное впечатление. Она бегала от одного окна к другому, смотрела на погрязший в снегу проспект, нахмуренную тайгу, изрытую гору — угольный разрез и убегающий вдоль речки шорский поселок.

Я стоял в дверях и следил за ней. «Она еще не знает, что такое Сибирь, — думалось мне. — Она еще не знает сбежавшихся сюда за длинным рублем людей. Она еще будет плакать».

Юнка подошла ко мне и запела:

Надоело говорить и спорить
И любить печальные глаза.
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса.

В комнате, как шрам на лице, выпячивалась большая никелированная кровать.

— Это будет наша кровать? — спросила Юнка.

— Если хозяин откажется от нее в нашу пользу, — ответил я.

— Он же один... — обиженно воскликнула она.

— Ты еще познакомишься с местными характерами.

К вечеру шумно ворвался Лебедев. Он принес две бутылки портвейна. Из зимнего холодильника достал две пачки мороженных пельменей, вскипятил воду. Когда мы сидели за кухонным столом и пили из маленьких лебедевских рюмок, Юнка все время улыбалась.

— Да вы не верьте, — изощрялся в убеждении хозяин. — Вы знаете, как здесь хорошо! И народ замечательный! Здесь каждый человек необыкновенный. Честное слово! А знаете, как начинали! Утром из палаток выходить, а на улице — медведь. Здоровущий, лохматый. Палатка на берегу Ольжераса стояла, а там тайгища была такая, что ой да ну... Тогда здесь только и было, что несколько шорских дворов да наши палатки... А сейчас посмотрите. Город! Столица! Паровое отопление. Это для меня, холостяка, первая вещь.

— Когда же вы успели побывать здесь? — осведомилась Юнка.

— А я с пятнадцати лет здесь. И в техникум отсюда уезжал. — Лебедев раскраснелся от выпитого вина. — Люблю я эти места. Встанешь утром на лыжи, в тайге тишина. Красотища бешеная...

Потом Лебедев перестал рассказывать и принялся кричать: «За ваше счастье! За ваше счастье, товарищи!».

— Спасибо, — отвечала за двоих Юнка.

Она была действительно счастлива, так счастлива, что не замечала, что счастье ее в чужой квартире и что пьет она за свое счастье из чужих рюмок. Глаза ее возбужденно горели. Юнка поворачивала голову то к Лебедеву, то ко мне. Черные подвитые волосы упали ей на лоб, она этого не замечала, или, может быть, не хотела замечать, потому что знала — небольшая небрежность в прическе делает ее еще очаровательнее, еще неотразимее.

— Пьем за яростных, за непохожих... — перебивая Лебедева, пропела Юнка. — Вы любите это? Павел Коган.

Лебедев вскинул голову и процитировал:

...Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Оглохшие от грома труб,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру...

— Если бы у нас было пианино, — вздохнула Юнка.

— Вы умеете играть? — заинтересовался Лебедев.

Лупоглазый провинциал, вызубривший Когана, он думает, это та-

кая сложная штука — научиться играть. В Москве каждая вторая девочка играет на пианино. Мне было больно, что Юнка нашла с ним общий язык. Я нахмурился и выпил рюмку один.

— Слушай, — через несколько дней предложил мне Лебедев, — уезжает энергетик с разреза. Они продают совершенно новенькое пианино.

Я не перестал его ненавидеть. Но я был обязан ему — он же добровольно уступил нам комнату. Невозможно было его оборвать: не твое, мол, это дело, дорогой механик. А как хотелось! Но я осторожно сказал:

— У нас же нет денег...

— Я тебе дам, у меня есть.

— Я не смогу быстро рассчитаться...

— Рассчитаешься, когда сможешь.

— Не знаю...

— Юнка же так хочет пианино, — сказал он.

В тот вечер Лебедева вызвали в шахту. Мы остались с Юнкой в пустой темной комнате, она играла мне «Аппассионату». Я сидел на кровати и слушал. В комнате над нами перестали ходить и, наверное, тоже слушали.

Вдруг Юнка перестала играть и бросилась ко мне.

— Как я рада, Володя! Сколько я мечтала об этом! Я счастлива.

Поцелуи ее были влажными, горячими, и я никак не мог сказать ей, что пианино это не наше, что пианино это Лебедева, что теперь мы его вечные должники и что мне это неприятно и больно.

Лебедева не было двое суток. Он сидел в шахте и ремонтировал комбайн. В лаве был сильный приток воды. Промокший до нитки, он выходил на-гора, обсыхал и снова спускался в шахту.

И мы двое суток были с Юнкой одни.

На свадьбе целуешься, танцуешь и не предполагаешь, что это белый голубь, которому суждено улететь безвозвратно. Жизнь находит свою колею и ползет, и ползет. Убавляется радостей, добавляется неудовольствий.

Юнка поступила работать в музыкальную школу, а по вечерам убегала во Дворец культуры, где руководила репетициями организованного ею эстрадного оркестра. Ее почти не было дома.

Я такелажничал. Все продолжали считать нормальным, что техник



работает не головой, а руками. Еще один экзамен на способность к умственной работе.

Лебедев грыз за невыполнение нарядов.

— Володя, ты же техник... Неужели непонятно, как важно было это сделать?

Они все помнили, что я техник.

Лозовский набросился как-то прямо в шахте:

— Что ты делаешь? Сбесился что ли? Ты же ноги ему отдавишь. Неужели уж такое простое дело... Техник.

Я ходил с ребятами в ресторан.

— Слушай, Володя, я все-таки думаю, что ты умный парень, — встречал меня Лебедев в коридоре.

— Что же мешает вам продолжать думать в том же духе? — спрашивал я ехидно.

— Не прикидывайся...

Юнка отворачивалась и не разговаривала со мной, пьяным.

Случалось, что вечерами мы были дома. Тогда нам Юнка играла. Мы сидели и внимательно слушали ее. Особенно Лебедев. Казалось, до этого он не слышал фортепианной музыки. Юнка играла до тех пор, пока он не вставал и не уходил на кухню.

Жизнь — это такая штука, где очень многое незаметно.

...Юнка как-то пришла под утро, в пятом часу. Я проглядел, может быть, она часто приходила в пятом часу. Но на этот раз я счел себя обиженным.

— Эстрада для тебя умерла, — сказал я, поднимаясь с кровати.

— В чем дело, Володя? — спокойно спросила она.

— Я не хочу, чтобы моя жена бродила ночами по улице.

— А почему бы мне и ночью не поработать?

— Ты знаешь, кто ночами работает?

— Володя, вот ноты...

— У нас дома пианино...

— Но вы же мне мешаете.

На следующий день в нашу ссору вмешался Лебедев.

— Я не понимаю, Володя...

На этот раз я не дал ему говорить.

— Евгений Михайлович, это же извини меня, не твое дело..

— Ошибаешься, Володя...

— Как это понимать?

— У нас до каждого есть дело. А тебе я хочу сказать: Юнка приехала к тебе потому, что ее направили сюда работать.

— Ты знаешь ее лучше меня?

— Если ты не знаешь этого, не думай, что ты знаешь ее хорошо.

С этого дня и засела у меня в голове мыслишка, что нам пора оставить Лебедева в покое. Иначе он скоро начнет учить меня, как нам с Юнкой спать! Он слишком вознесся в роли хозяина Сибири.

Юнка ходила надутая и от Дома культуры отказалась. В глазах ее застыла обида. Она не пыталась заговорить со мной. После школы допоздна играла на пианино, что-то писала, потом проигрывала.

Когда я однажды поздно пришел с работы, она сидела с Лебедевым и рассказывала ему о Чайковском.

Я с трудом дождался воскресенья. Еще только начинало светать, а я уже оделся и пошел искать квартиру.

Вернувшись, я не застал никого дома. Юнка и Лебедев ушли ка-

таться на лыжах. Коротенькая записка звала меня присоединиться к ним.

В отчаянии я заметался по комнате. В глазах все время стояли они оба. Юнка идет впереди, он почтительно отстает. Юнка в своем красном лыжном костюме, он — в ярко-зеленом свитере. Идут медленно. Тайга матовая. Снег сухой и рассыпчатый. Лебедев учит ее, как надо жить. Они читают наизусть Павла Когана:

Сквозь вечность — кинутые дороги,
Сквозь время — брошенные мосты,
Во имя юности нашей суровой...

И Юнка улыбается. Ей так же хорошо, как было хорошо со мной, когда она приваливалась к стенам домов и мы целовались. Наверно, и сейчас она подыскивает потолще кедр, чтобы...

Я не выдержал, хлопнул дверь и снова выбежал на улицу.

Этот увязший в сугробах проспект, кому ты нужен? Эти маленькие укутанные человечки, зачем вы? Как было бы хорошо, если бы не было вас! Не было бы и меня. Никто бы никого не ждал, никто бы никого не искал, никто бы не мучился.

Проклиная всех и все, я выпил за углом четушку водки. Остаток дня просидел в ресторане. На улице было темно, когда я пошел домой. Маленький дребезжащий автобус довез меня почти до подъезда. Подхлестываемый выпитым вином, влетел в квартиру.

— Кто есть дома? — рявкнул я пьяно.

Комната мне ответила тяжелым эхом. Их не было. Я увидел две пары лыж, безмолвно прижавшихся друг к другу в углу, и снова бросился на улицу.

Ноги несли меня сами. Я ничего не хотел видеть. Мне надо было только Юнку. Мне надо было мою Юнку. Напомнить ей первый вечер. Сказать — я нашел квартиру, и каждый наш завтрашний вечер будет такой же, как первый, и даже лучше.

В ДК я прорвался с безумным остервенением. Дежурная смотрела на меня и причитала. Я не обращал на нее внимания: «Иди прочь, мать...». Я уже слышал музыку. Я слышал трескотню пианино. Ненависть гнала меня к этой музыке.

Нетрудно было узнать Юнкин почерк. Пианино вдруг требовательно заговорило о любви. Юнка требовала любви. Я слышал и понимал только это, мир представился мне звездными звуками. Не раздеваясь, пробежал я в зал, бросился к сцене и закричал:

— Прекратите вы! Прекратите, я вам сказал!

На мой крик пустой зал отозвался тишиной.

Мы от Лебедева ушли. Юнка согласилась, но при условии, что она будет ходить в ДК. Это ее работа, это ее хлеб. Я принял это условие. Пусть она занимается музыкой, пусть она живет, как ей хочется, только бы не видеть Лебедева.

Он помогал вытаскивать пианино. Скуластое лицо его было бледно. Он не суетился, не нервничал и боролся с наступающим на него отчаянием, кося иногда свирепыми, как у растравленного быка, глазами.

Я радовался, глядя на него. Своим решением уйти из его квартиры я будто ударил этого человека. Вот он ходит, молчит, терпит, это он беспомощно вертится от моего удара, он по-своему жалко плачет.

Переездом я рассчитывал покончить со всем.

И какое же было мое отчаяние, когда несколько недель спустя, придя в ДК встречать Юнку, я увидел его в пустом полутемном зале, внимательно слушающим Юнкину игру. Нервы мои не выдержали. Я подбежал к нему, схватил за воротник пальто и прохрипел:

— Евгений Михайлович, уйди отсюда...

Он зло, с силой отдернул мои руки, но даже не поднялся.

— Я, Володя, уйти не могу...

— Я тебя заставлю, — закричал я.

— Нет, не заставишь, — спокойно, с железной уверенностью возразил он.

Первого мая Юнка показывала свою работу.

Зал был полон. Конферансье, мужчина в роговых очках, торжественно объявил:

— Вашему вниманию предлагается соната «Сибириада» нашего местного композитора Юнны Григорьевны Сергеевой.

Я опоздал на начало концерта и стоял в проходе. Знакомые звуки прорывались ко мне смятыми, неточными. Но зал был тих.

Юнка говорила, что эта музыка о нашей жизни. Что-то гнуло лирического героя. Что-то сбивало его с дороги. Но любовь должна переделать его. Лирический герой — это я. Я очень плохой. Но меня любят, и я обязан стать хорошим. Любовь моя водит меня по улицам, а под ногами поскрипывает промерзший снег.

Финал — что-то громкое, медное. Юнка говорила — гимн. Но я не понимаю. По-моему, это не торжество, по-моему, это расстрел. Расстреливают привалившуюся к стене гордую, сказочную любовь.

Музыка стихла, и зал в едином порыве встал.

И тотчас я увидел на сцене Лебедева. Он был в черном торжественном костюме с букетом живых роз в руках. Где он разыскал их в мае? Лебедев отдал букет Юнке, что-то сказал ей, поцеловал руку и прошел за сцену.

Точно почувствовав недоброе, я тоже бросился туда. «Я буду хорошим, Юнка, — хотелось мне крикнуть. — Я принесу тебе гору садовых роз. Не надо, Юнка».

На сцене ее не было. Я рванул в комнату, где она переодевалась, и без стука распахнул двери.

Они стояли друг против друга. Руки их готовы были обвиться, чувствовалось, что они не сказали еще ни слова, но сейчас скажут.

Лебедев подошел ко мне и почти попросил:

— Выйди, пожалуйста, на минуту:

Юнка немо, безжалостно следила за тем, как выпроваживали ее мужа.

Я не нашел слов, которые надо было им сказать и, опустив голову, вышел.

Лебедев внешне не изменился. Он был в своем рабочем костюме. Прямо сидел за столом и по-простецки разговаривал с парнями.

Он мог говорить о чем угодно. Мог говорить о пленумах, о задачах участка на ближайшее время, о Кубе, об австралийских аборигенах, о загадке гигантских скульптур на острове Пасхи, о Луне, о Марсе. И люди его слушали, люди верили в то, что он много знает.

Я тоже много знал об аборигенах, но они не станут меня слушать. Чем берет этот человек? Как он подползает к чужим сердцам? Я следил за ним и не мог понять. Он казался мне странным, рисующимся. Может, всем было давно ясно, кто из нас прав, а кто нет. И только я один жил

в неведении, потому что личное побеждало во мне самого себя. Я завидовал Лебедеву и презирал его. Если бы я мог с ним что-нибудь сделать!

— Вот, ребята, — Лебедев развернул перед ними лист ватмана, — помороковал я тут немного. Можно кое-что механизировать... Давайте посмотрим...

Если бы я мог с ним что-нибудь сделать!

В шахте он подошел ко мне и позвал с собой. Надо было доставить под лаву натяжную головку конвейера.

Лебедев вел себя так, будто между нами ничего не произошло.

— Заберите пианино, — сказал я. — Юнне Григорьевне играть надо.

— Да, сегодня возьмем, — ответил он.

Мы подтянули головку к гезенку, поставили на попа, и Лебедев посмотрел вниз.

— Вот некстати — обшивка еще задралась... Подержи-ка...

Он нашел скобу, взял молоток и полез вниз. Он будто напрашивался сам. Я не мог хорошо подумать. От волнения горели руки. Слюна казалась сухой, я никак не мог ее проглотить. Сердце колотилось, лицо покрылось мелкими каплями пота.

Я не понимаю, что это за человек и ненавижу его. Вот он, внизу подо мной. Вот его огонек. Лебедев забивает скобу. Сейчас он вылезет и будет смотреть на меня своими круглыми глазами. Это невозможно! Надо его сломить! Надо его...

Я не способен был хорошо думать. Поспешно, будто меня кто-то подгонял, я отвернул лицо, оттолкнул от себя головку и закричал. Лебедев чудом остался жив. Головку заклинило в пятидесяти сантиметрах от него. Всего в пятидесяти.

Он вылез наверх и обычным своим жестким голосом сказал мне:

— Надо лезть, вытаскивать...

Я готов был сойти с ума. Что за человек! Что это за кусок железа! Я стоял перед ним, и меня колотило, как в лихорадке. Нервы мои не могли больше выдержать чудовищного напряжения и этого его убийственного спокойствия.

Слезы заволокли мне глаза. Туго соображая, я постоял немного и пошел прочь. Сломанный, разбитый, я понял, что не мог никуда уйти. Для меня не существовало мира, кроме того, который разбивал меня, чтобы сделать заново.



АНАТОЛИЙ САУЛОВ

ЯЯ

То течет она под солнцем,
То запрячется в леса.
И над ней, как мачты, сосны,
Облака, как паруса.

Невеличка эта речка,
Но журчит, течет, чиста,
Чу! Чирки там мчатся резко
Или чибисов чета?

Напевают струи тонко,
Но вода в них холодна:
Чуть притронуся — бьет, как током,
Родниковая, со дна.

Яя — язы колыхет волны.
Яя — солнечный песок.
Яя — ягодою полный
Берестяный туесок.

Камыши, тальник качая,
По равнине разлилась...
Там родился я, где Яя
Голубая родилась.

И живу я, песен полный,
Яе солнечной сродни,
И, как Яя, всюду помню
И тайгу, и свой родник.

Много рек течет далеке,
Нет им, кажется, числа.
Только мне милее речка,
Что журчит, течет, чиста.

То роднящаяся с тишью,
То вбирая песню птичью,
Заливается, звеня,
Серебристая струя:
— Яя. Яя, Яя я!

РОССИЯ СНЕЖНАЯ

Россия каждому — своя,
Моя — где парни ходят в рейсы,
Где на привалах спиртом грейся,
Где сосны падают, звеня.

Там белый мир, огромный мир!
Геолог, к рации припавший,
Для всей родни своей «пропащий»,
Клянет простуженно эфир.

Зато здесь — высшее родство,
Когда на всех — лишь корка хлеба.
Здесь так погоды ждут, что небо
К ресницам белым приросло.

Но — в пляс унты, воротники,
Лишь вертолет придет (о, счастье!),
И бьют глаза лучисто, часто,
Как голубые родники.

И, хоть придется туго им,
Не скажут в день глухой и выюжный,
Что, мол, Нарым берите южный,
А дайте северный, да Крым.

Здесь всех, в ком злосба или спесь,
Простор высвечивает чистый!
Пусть мерз и мок я, но учился
Любви и мужеству я здесь.

И, знаю, буду счастлив я
За строчки первые, простые,
Покуда я с тобой, Россия,
Россия снежная моя!





ВИТАЛИЙ ЮРЕЧКО

Лучше делай со мною «ладушки»:
Руки заняты и — лечебное...
Пусть гадают и пра, и бабушки
Над чертами еще ничейными.

Я-то знаю, чьи это ямочки,
Чьей улыбкой они наполнены,
И с чьей яблони это яблочко,
И чью юность они напомнили...

Чувства снова по-майски бешутся.
К черту старость и строф заузости!
Сыну ровно четыре месяца.
Точно столько же — моей юности.

ЛАДУШКИ

Сколько там, впереди, осталось?
Скоро ль юность моя отбесится?
Родилась, родилась моя старость,
Ей сегодня — четыре месяца.

Вот она, в распашонке бязевой,
Ею жизнь моя омоложена.
Кулачки шалют — хоть привязывай,
Так и метят, куда не положено.

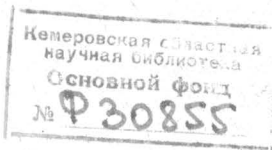


СЕРГЕЙ СУХАРЕВ

* * *

Вещи долговечнее хозяев:
Неизбежным следствием утрат
Остается после скупердяев
Очень много разного добра.

Вещи долговечней человека,
Но случается наоборот:
Остается средь живых навеки
Тот, кто жил и расточал добро.



ВАЛЕНТИН СИМАНОВ

ПРОЩАЙ, ЭКЗОТИКА!

повесть



Вторую неделю мы бегали по Владивостоку, доставая справки и рекомендации для поступления в Крабофлот. Сначала, правда, мы думали попасть на «Советскую Россию», но набор на нее уже прошел, и на днях флотилия уходила в путину. Страшно хотелось попасть на эту легендарную красавицу, ведь она шла в Индийский океан и дальше, в Антарктиду. Сингапур, Малай, Калькутта... Промести их бульвары широкими клешнями, чувствуя на себе быстрые взгляды мулаток, небрежно тянуть в каком-нибудь кабаре контрабандный ром и думать о знакомых, которые там, в Союзе, встречаясь, говорили бы:

— Валерка-то, слышал? На «Советской России» промышляет. Вчера открытку прислал из Кейптауна.

— Да брось ты!..

— Посмотри, если не веришь...

Конечно, это здорово прийти из плавания и не знать отбоя от соседей, которые буквально едят тебя глазами и с открытыми ртами слушают твою одиссею. Индия, Мадагаскар, Африка... Далекие точки костров на берегах океанских островов... Встречи с туземцами, фотографии вождей племен, воинов с копьями и в набедренных повязках... Экваториальная экзотика...

5 сентября китобойная флотилия снялась с рейда и величаво прошла на траверзе станции «Водник», увозя с собой наши мечты. Мы стояли на пляже в одних плавках, провожая ее унылыми взглядами.

— Помаша дяде ручкой, — сказал Тслька и сплюнул на медузу, болтавшуюся у самого берега. — Теперь только Крабофлот или зверобойный промысел.

В управлении Крабофлота на наши выгоревшие гимнастерки посмотрели с сомнением.

— Давно из армии?

— Вторую неделю.

— Небось, моря и не нюхали?

Мы обиженно пожали плечами.

— А если штывать начнет? — спросила полуторацентнеровая тет-ка, навалившись на стол и почти закрыв его огромной грудью. Она смотрела на нас снизу, и у нее был какой-то рыбий взгляд. — Если, например, неделю штывать будет?

Мы не знали, что это такое «штывать» и снова пожали плечами. Эта тетка — медуза с красными глазами — была мне антипатична одним лишь жаргоном, которым она щеголяла сейчас, не говоря уже о ее внешности.

— Ну, ладно, — вдруг сказала она. — Николай Васильевич, берем их? Парни не избалованные. Как вы думаете?

Партнер по столу, Николай Васильевич, равнодушно кивнул плешинкой.

— На «Никишин» пойдете? — медуза посмотрела на нас. — Отличный краболов, новый, и капитан-директор там отличный.

Она вручила нам направления на медкомиссию, и мы вышли.

— Ну, рыбина, — заскрипел челюстями Толька, едва мы оказались за дверью. — Взгляд у нее заметил какой?

— Как у медузы. Сказала бы спасибо, что идем в их Крабофлот. Этот «Никишин», знаешь, какая посудина? Дореволюционного выпуска. Мне бичи говорили, что они на него под пытками не пойдут. Ни улова, ни заработка.

— Ну, бичи-то и наврать могут. Конечно, лучше попасть на новейший краболов, но, может, и «Никишин» ничего.

... — На «Никишин»? — спросил нас разбитной малый, проходивший комиссию. — Я тоже туда. Шикарнейшая коробка. В прошлом году со стапелей спустили. Комфорт, как на адмиральском катере. Лучшие уловы — на «Женьке».

«Женька» — это «Евгений Никишин». Вот и думай, кому верить насчет путинной удачи.

Малый сходил в туалет и через пять минут вернулся, держа на вытянутой ладони спичечный коробок. Нижняя челюсть его отвисла и вздрагивала от смеха.

— Каку несу, — пояснил он. — Надо.

Мы с Толькой переглянулись. Подвох? Судя по улыбке парня, можно было подумать, что в коробке у него только что открытый радиоактивный элемент.

— Не верите? — спросил парень. — Понюхайте.

— Отвали, — процедил Толька.

Парень проскользнул в дверь, спустя некоторое время появился оттуда с немолодой медсестрой.



— Кал надо, ребята, — улыбнулась она.

Парень торжествующе захохотал:

— Я что говорил? Ну, чего вы стоите? Или у вас спичечных коробков нету? А может, не с чего? Небось, все дни впроголодь?

Самое скверное заключалось в том, что он был близок к истине. Пошиковав первые два дня, все остальные пять мы сидели на гарнирах. Питались два раза в день в привокзальной столовой, где брали по гарниру и чай. Зато все недостающее восполняла гора бесплатного хлеба, стоящего на столе. В середине нашей трапезы эта гора превращалась в плоскогорье, а к концу — в Прикаспийскую низменность, которая, как известно, лежит ниже уровня океана.

Комиссию мы прошли на «ять». Было отчего тузить друг друга кулаками и зубоскалить со встречаемыми девчонками.

9 сентября грузный и грязный «Каменец-Подольский», приняв на борт пассажиров, свирал якоря. Я не видел до этого более величественной картины. На берегу празднично суетилась провожающая публика. Стучали каблуки, надрывался баян, сморкались в платки старухи; девочки, проводив уезжавших служить любимых, уходили с пристани с другими парнями. Капитан на мостике что-то рычал в рупор. Мы с Толькой стояли на носу и смотрели за борт. Нас некому было провожать. Нам некому было прощально махать руками.

— Отдать концы!

Два пузатых прокопченных буксирчика оттолкнули «Подольск» от причала и повели к проливу Петра Великого. Справа сказочным островом-Буяном проплыл Русский остров.

— Надоело без дела шататься, — ни с того ни с сего сказал подошедший сзади мужчина в видавшем виды клетчатом картузе. — Четыре месяца бичевал, жить можно, но без дела скучно. Море тянет.

Мы промолчали.

Бич выпросил у нас папиросу и ушел искать более разговорчивых собеседников. Мы с Толькой организовали карты и через полчаса с увлечением истязали носы проигравших партнеров.

Пять дней, надрываясь и дрожа всем корпусом, «Подольск» рассекал водяную гладь. Пустынны и до одури однообразны были океанские горизонты. Надоедливые чайки хороводом мельтешили у бортов судна, пронзительно горланяли, дрались из-за добычи.

Прожорливость их была умопомрачительна.

За время плавания наш бюджет истощился совсем, мы прокалывали на ремне новые дырки, дабы удержать штаны в должном положении. Толька, не переставая, клял меня за авантюризм, в который я якобы вовлек его. Чтобы немного отдохнуть от язвительных нотаций, которыми он выводил меня из равновесия, я уходил на корму.

Вид чаек, целиком глотавших пойманных рыб, вызывал тошноту. Я шел в каюту, с головой укрывался одеялом, чтобы не видеть и не слышать неблагородной отрывки отобедавших пассажиров. Их неумеренность в пище граничила с прожорливостью чаек. Я глотал слюну, кашлял и думал о том, что уж на «Никишине»-то отведу душу и верну те килограммы, которые потерял на «Подольске».

Наш краболов стоит сейчас на рейде у берегов Щикотана, одного из южных островов Курильской подковы. Завтра мы будем в Малокурильске.

...Сегодня мы еще не ели, хотя уже перевалило за полдень. Хотелось спать, но есть хотелось еще больше.

Кто-то снизу потянул одеяло, и в то же время послышался торжест-

вующий смех Тольки. Свесившись с нар, я видел прыгавших в его глазах чертиков.

— Сосет? — заинтересованно спросил эн.

— Иди... понял?

— Может, сходим порубаем?

— Хочешь, чтобы обматерил?

— Я серьезно.

— Нептун перевод прислал?

— У лопоухих отыграл. — Он потряс мелочью, быстро пересчитал. — Два рубля.

Спустя минуту мы стояли в очереди у буфета. Толька презрительно шурился по сторонам, бренчал мелочью и время от времени подтягивал сползающие брюки. Я выполнял черную работу — стоял в очереди.

— Ну, как? — спросил Толька после щей, густота которых позволяла видеть дно миски.

— Жить можно.

Съели второе и отпустили ремни на одну дырку. Любовно погладили животы. Посоветовавшись, взяли еще по первому.

— А завтра? — спросил я.

— Будет день, пища тоже. На «Никишине» ее доотвала.

Это правда, завтра мы будем на «Никишине». Сегодня в сиреновой дымке справа по курсу встала Япония. Крутые сопки растут прямо из воды. Полчища чаек носятся между «Подольском» и землей. По раскаленной железной палубе слоняются сонные, вялые от безделья пассажиры. На унылых физиономиях — невысказанная тоска по любой деятельности, поле которой ограничено сейчас бортами судна.

Мы с Толькой, как всегда, стоим на носу. Ласковый бриз пузырит наши гимнастерки.

А справа по курсу — Япония.

— Экзотика, — выворачивая зевотой челюсти, тянет Толька. — Плакать хочется. В Японии хочется.

— Что там хорошего?

— Японочки. На мировом конкурсе красоты они пожали все лавры. Знаешь, какая ступня у взрослых японок? Двадцать девятый, тридцатый размер. А у наших — под сорок.

Знаю. Это потому, что в малом возрасте японки туго перебинтовывают ступни, чтобы тормозить их рост. Мне этот способ ваяния красоты кажется диким. А Тольке нет. И ста миллионам японцев он тоже не кажется варварским.

— Не забывай, что у банзайцев — высокоорганизованная культура. Самобытная. Одна из древнейших, — толковывал мне друг.

— Ладно, пусть. Мы тоже не лаптем щи хлебаем.

...Малокурильск — поселок типа времен царя Горюха. Избенки старожилов, по окна вросшие в землю, говорят о том, что в лучшей архитектуре здесь пока нет нужды. Пока — это до времени, когда землетрясения на Курилах будут исключены полностью. В бухте, которая была когда-то кратером вулкана, до сотни судов разного калибра, то есть водоизмещения. Спокойно, Валерка, все будет «тип-топ», как говорят парни в романе одного современного писателя. «Тип-топ» — это значит порядок. Все будет в порядке. А пока...

...Мы стоим в цехе сайрового завода, зубоскалим с вербованными украинками. Мы веселы, потому что наши карманы оттопыриваются консервными банками. Это — подарки разбитных хохлушек, чьи щеки

пышут румянцем, а глаза — природной лукавинкой. Мы — викинги, потому что пробрались в цех без разрешения и ждем, что нас отсюда вот-вот вытряхнут. Мы — это Толька, я и еще пять парней, среди которых выделяется мой тезка Валерка Чужеумов. Он уже бывал на путине, у него походка, манеры и речь отдают морским рассолом и необходимым пренебрежением к нам, салагам. Он больше других липнет к девушкам, осторожно обнимая за плечи самую сдобную из них.

Бац!

Нет, это не пощечина. Это мастер цеха хлопает дверью. Посмеиваясь, викинги покидают завод.

— Эй, вы! Эй, — кричат с пристани, — черти! Сколько ждать можно?

В деревянный причал тычется носом деревянное же суденышко. Это корыто называют мотоботом. Он повезет нас на «Никишин», которого не видно из-за тумана, спрятавшего рейд.

Холодно. Обдает соленым дождем, который рождается перед носом мотобота, врезающегося в волны. Бортиков на мотоботе нет, мы жмемся к середине пятачка, именуемого палубой. Смех и только. Есть суда, палубы которых годятся для посадки и взлета самолетов. На нашей палубе плюнуть некуда, и злые плевки летят за борт. Собачий холод, мы дрожим, как щенки.

Кажется, лоцман заблудился. Заглушив двигатель, он вслушивается в туман, ожидая гудков. Гудят совсем рядом, метрах в ста. Лоцман правит туда, на голос океанской махины, мрачным утесом вырастающей из месива воды и тумана.

— Э-э-эй!..

— Кто такие? — спрашивает сверху рупор.

— С «Никишина»!

— Кого везете?

— Новеньких!..

Голос в рупоре меняется.

— Давай к нам, на «Коряк»! Оформим сразу и — в дело.

Рев протеста заглушил приглашение. «Коряк» не про нас, это ржавый краболов выпуска тридцатых годов и притча во языцех плохих путинных заработков. Мне на заработки, в общем, наплевать, но я реву вместе со всеми. Я хочу на красавец «Никишин», который, оказывается, является сейчас флагманским кораблем в Крабофлоте. Эту новость мы услышали буквально час назад от самого лоцмана.

— Катитесь колбаской! — обижаются наверху. И потом спокойно: — Рядом «Никишин», в полутора милях на ост.

Мотобот разворачивается, и мы машем дяде ручкой, хотя он и не видит этого.

Спустя полчаса мотобот заплесал у правого борта «Никишина». Швартоваться к парадному трапу нельзя: большая волна. Мы проклинали погоду, смеющегося лоцмана, и тех, наверху, что не спешат нас принять. Наконец, опускают тали, урчит лебедка, и мотобот медленно плывет вверх. Еще через минуту мы идем по узким комфортабельным коридорам «Никишина». Нас ведут в кинозал. Я впервые на таком огромном судне, которое имеет сотни кают, красный уголок, роскошную столовую, библиотеку в сотни томов и этот чудо-кинозал, которому позавидует любой районный клуб.

Часа полтора мы томимся бездельем в ожидании капитан-директора. С помполитом мы уже говорили. Невероятная авантюра: нас уверяют в том, что мы оформились на «Коряк». Растерянно оглядываем друг друга, помполита, достаем документы.

— Ну и что же? — сказал помполит, увидев бумаги, где черным по белому написано, что мы оформлены на «Евгений Никишин». — У нас полный штат, понимаете? А на «Коряке» рабочей силы не хватает и заработки там сейчас баснословные, понимаете?

Плевать нам на баснословные коряковские заработки. Везде хорошо, где нас нет. Мы все злы и требуем, чтобы пришел капитан-директор. И вот теперь ждем.

Капитан-директор похож на министра. Хотя я и не видел живых министров, кроме как в кино, но сорокалетний джентльмен с благородной проседью на висках — копия с министра или главы крупной фирмы. У него добрые умные глаза и несокрушимый подбородок.

— Ну что, ребята?

Мы наперебой говорим ему о вопиющем издевательстве. Он слушает молча с улыбкой, выводящей нас из рамок приличия.

— Это авантюра. — Я говорю тихо от злости и от страха, что он меня немедленно рассчитает и высадит на берег. А у меня за душой ни копейки. — Это авантюра, понимаете? Мы оформились на «Никишин», а нас хотят спихнуть на «Коряк», пользуясь нашим безвыходным положением. Мы не уйдем с «Никишина».

— А почему вы не хотите идти на «Коряк»? — спрашивает капитан-директор, и правый угол его рта вздрагивает в улыбке. — Вас всех, конечно, должны интересовать заработки? На «Коряке» они отличные.

— Но мы оформлялись на «Никишин», — упрямо возражаю я. Ребята зашуршали документами.

Битых полчаса мы доказывали ему, что раз нас оформили на флагман, в управлении Крабофлота знали, что делают. И он, усталый, с неизменной улыбкой отвечает нам, что на его краболове просто нет штатных свободных единиц, что улова на «Никишине» сейчас никакого, а на «Коряке» свободные штатные единицы и сказочные уловы.

...Первая ночь на море. Мы спим вповалку на сцене чудо-кинозала. Настроение... лучше не говорить, какое оно у нас. Общее молчание говорит о нем более чем красноречиво. В двадцати метрах под ногами глухо гудит бездна, раскачивает, как пустую коробку из-под монпансье, железную громадину длиной двести сорок метров и тридцать тысяч тонн водоизмещением. Капитан-директор пьет, наверное, легкое вино и диктует радисту текст радиogramмы во Владивосток, упоминая в ней о викингах. Семьсот человек стоят на вахте, читают или спят в уютных каютах. Семь викингов валяются на сцене, не спят, курят, молчат.

Стонет стихия.

Длиннее этой ночи были разве что в армии, в карауле.

— Измором берут, гады, — говорит на следующий вечер Валерка Чужеумов.

Не совсем так. Сегодня мы три раза «от пуза» наелись в столовой, но безделье угнетает. Безделье и безвестность — лучший измор для упрямых. Копия министра или главы крупной фирмы, наверное, знает об этом. И не идет.

Огрызок вечера мы добиваем в карты, остервенело хлещем друг друга по носам. Особенно усердствует Толька. Он мастер этого дела, бьет с небольшого маху, но с оттяжкой, так что кончик носа сразу сизеет, наливаясь кровью.

— Убери руку, нос не закрывай, — говорит он морскому волку Чужеумову и отсчитывает удары.

— Ты что рукой? — вдруг вскипает тот и встает с пола. Толька то-

же. За ними поднимаюсь и я. Зреет потасовка. Из-за чего? Из-за пустяка: нужна разрядка. А кто нас наэлектризовал?!

Его приход замечаем не сразу. Только когда он подходит к самой сцене, оборачиваемся. Несокрушимый подбородок на уровне наших колен...

— Здесь еще? — удивляется он и поворачивается к сопровождающему, второму помощнику, как мы узнали потом. — Ведь я еще вчера говорил, чтобы утром развели по каютам и выдали постельные принадлежности.

Мы устремляем на второго помощника неласковые взгляды. Тот роняет узкое лицо на грудь, оправдывается:

— Забыл, Василий Трофимович. С мотоботами провозился и забыл.

— Исправляйтесь, — сухо бросил капитан-директор.

Оставшись с нами наедине, второй помощник извиняется. Неловкое молчание ломает Валерка Чужеумов. Со всепрощающей улыбкой он говорит небрежно:

— Давайте исправляться, товарищ помощник. Где получать постельные принадлежности?

...Траулер бьет железная дрожь. Он упрямо лезет на огромную волну, а потом с гребня ее ухаает вниз, да так, что на секунду кажется, будто отрываешься от палубы. Женя Босак стоит у руля и исполняет медленный, очень медленный твист: при левом крене сгибает правую ногу, при правом — левую. Качает дай боже: восемь баллов. Второй штурман, высунувшись в окно, громко ругается на каждую волну, когда соленый ливень ее гребня, снятый форштевнем траулера, достигает мостика.

Сегодня мой второй день пребывания на траулере. На руле — матрос первого класса Женя Босак, он плавает на траулере после окончания Находкинского мореходного училища. Через два года он будет третьим штурманом. Два года — плавательный ценз, который надо пройти после окончания училища. А сейчас Женя Босак исполняет танец, напоминающий священный ритуал африканского племени. Он необходим, чтобы удержаться на ногах от дьявольской трепки, которую задает траулеру обнаглевший океан. Траулер имеет тридцать метров длины и тридцать тонн водоизмещения. Скорлупка в сравнении с «Никишиным». Еще эта скорлупа имеет остойчивость, которая позволяет ей издеваться над любым, даже шестнадцатibalльным, штормом, если такой когда-нибудь случится. У траулера проржавленные борта и красивое имя — «Синегорск». Город из мечты. И вот как я оказался на траулере, носящем имя города из голубой мечты.

Нас, семь викингов, никак не могли пристроить к делу. Мы уже стали проситься на процесс, но там делать было нечего; сайры на крабов поступало столько, что аборигены «Никишина» справлялись с ней за полмены.

— В футбольную команду! — приказал второй помощник, увидев нас однажды на корме. Мы сидели у огромного запасного винта, травили анекдоты и громко зевали, хрустя скулами. Неожиданное появление второго помощника спасло нас от тунеядства.

В функции «футболистов» входило соскребать и закрашивать ржавчину на корабле. Боцман, медлительный дядя со слопоподобными конечностями и манерами, изредка обходил фронт наших работ, шурился и качал головой. Что это означало, мы не понимали, а он не объяснял. Если улыбался, то опять нам непонятно было, как он улыбается: одобрительно, снисходительно или осуждающе. Только прозвал его

«боцман боб», и мне кажется, что это было удачное прозвище пожилому увальню.

Как-то раз я заглянул в каюту, где размещался отдел кадров. Начальник отдела, юркий чиновник с лицом закулисного биржевика, взглянул на меня пронзительно. Он разговаривал с каким-то молодым человеком в морской форме, в фуражке с «крабом». Собеседник сидел на столе начальника кадров спиной к нему и отрывисто бросал через плечо:

— Ну, кого ты мне даешь? Сброд разный! Попробуй с ними возьми улов.

— А каких тебе надо?

— Которые дело знают. А ты картежников шлешь да бичей.

— Ну, вот этого взял бы? — начальник кадров кивнул на меня. Я поставил ведро с краской на палубу, сунул руки в карманы. Темная от пота гимнастерка топорщилась на плечах и груди.

— Из армии? — спросил с «крабом». Я кивнул.

— Давно?

— Месяца нет.

— Такого взял бы, — через плечо бросил кадровику обладатель морского костюма. — Неразболтанный еще.

«А я не пойду к тебе», — едва не вырвалось у меня. Смолчал, потому что догадался, что это капитан какого-то траулера, которые каждый день толклись у бортов «Никишина», сдавая рыбу. Болтаться в «футбольной» команде было утомительно. Хотелось настоящей работы, а нас совали во все дыры. Особенно невзлюбили мы погрузку готовой продукции. Груз опускали в трюм судна-рефрижератора, пришвартованного к «Никишину» на «парашюте», там ящики сгружали, и через три минуты «парашют» возвращался к нам. Мы работали без маек: пот прошибал до костей... Утомившись за двенадцать часов погрузки в душных трюмах, мы разбредались по каютам, падали на койки и засыпали мертвецким сном. И сны были продолжением каторжной работы. Каждую ночь мне снился четырехугольный кусок звездного неба, качающийся над трюмом, тарахтенье лебедки и доотказа загруженный «парашют», медленно плывущий навстречу звездам.

— Вира!

— Майна!

— Вира!..

Я просыпался в поту.

— Пойдешь? — спросил начальник кадров. Я взглянул на капитана, который без стеснения, как экспонат, рассматривал меня.

— Пойду... — я глотнул слюну и кивнул. — А как с валютой?

— О-о-о! — протянул капитан, вскинув брови к козырьку. — Еще на траулере не был, а сразу — про заработки!

— Не век же мне в этой робе ходить, — с вызовом бросил я.

Почему-то сразу не понравился мне этот капитан. Из-под суженных по-стиляжьи морских клешей вызывающе уставились на меня остроносые туфли. Фуражка с «крабом» картинно надвинута на лоб, на кителе — ни пушинки, ни пятнышка. А я стою перед ним как босяк, в грязном хе-бе, без ремня, в стоптанных и заляпанных краской сапогах. И откуда он взял, что я «неразболтанный» еще, и кто дал ему право «тыкать», словно я уже давно под его начальством хожу? Но боязнь отказа смирила гордость, я посмотрел на него угрюмо, сказал:

— Не беспокойтесь, работать буду, как робот.

Брови его опять поползли под козырек.

— Ладно. Собирайся, сейчас мотобот на «Синегорск» идет...

— Вот здесь будешь спать, — сказал боцман траулера. Каюта матросов размещалась на самом носу, в мутное окно иллюминатора надоедливо плескалась волна. Экзотика...

— Здесь раньше убийца спал, — сказал боцман и тут же поправился, — самоубийца. Зарезался, дурак, по пьянке. У него жена на берегу оставалась, и пока он плавал... ну, понимаешь, в общем...

В первую ночь я чуть не плакал с досады. «Синегорск» швыряло, как щепу, койка моя была расположена поперек длины суденышка, и голова то оказывалась ниже ног, то выше. Я долго не мог заснуть, вспоминал «Никишин», от которого мы ушли миль за двести и на котором качки почти не чувствовалось. Вспоминался Толька с разинутыми глазами и ртом.

— Что ж ты уходишь?

В круглых кошачьих глазах его — нежелание расставаться.

— Мы же часто будем приходить к вам, рыбу сдавать, — успокаивал я.

На его дубленом симпатичном лице с носом-картошкой — прямо-таки телячья растерянность.

— Слушай, да брось ты... — говорю я ему. — Или пошли вместе на «Синегорск».

— Не пойду. Езжай один, раз ты такой... — Он замысловато, длинно и солоно ругается.

Но ссоры все-таки не было.

— Пиши...

— Пиши...

— Эх ты, бэгу-вэгу, — совсем уже непонятно ругается он вслед мне. Я машу ему рукой, по шторм-трапу с чемоданчиком спускаюсь на мотобот.

...Э, бэгу-вэгу...

...Женя Босак, злоупотребляя своим ростом и годичным морским стажем, смотрит на меня с добродушной улыбкой, когда я прошу выправить траулер, который под моей рукой тычется в волны слепым котенком. Сегодня я уже дублер Жени. Он быстро и легко выправляет судно, снова отдает мне руль.

С мостика видно все. Наш траулер идет наперерез волне, так меньше качает. Еще на «Никишине» я услышал, что сайру ловят ночью, чему немало удивился. Сейчас мы ведем поиск рыбы. На руле Женя Босак, на прожекторе — Цыганок. Он ищет косяки сайры. Под лучом прожектора найденный косяк серебряной лентой выплескивает на поверхность: так сайра реагирует на свет. Сейчас ее нет, она ушла на глубину, потому что волна большая, но капитан все равно не снимает дежурства на прожекторе. Детское упрямство, что ли? Толстый луч света бестолково пляшет по волнам, упирается по носу траулера, не движется.

— Ищи, ищи, — кричит с мостика второй штурман. Цыганок оборачивается, что-то кричит в ответ. Перед нами с Женей стекло, слова глушатся, но второму штурману в открытое окно все слышно. Курносое детское лицо Цыганка оскалено. Ругается, наверное, потому что второй грозит ему кулаком:

— Не твое дело, что волна! Не твое дело, что на глубину ушла! Кэп приказал — и ищи!

Кэп — сокращенно капитан. Здесь все профессии имеют свои имена. Старпома, например, зовут чиф, стармеха — дед, моториста — мотыль, электрика — светило.

— Летчик над тайгою точный курс найдет, — мурлычет второй

штурман. Женя, вытанцовывая медленный африканский танец, смотрит то на меня, то на второго. Что-то ему в нас забавно, он улыбается. Цыганок на своей вышке остервенело крутит прожектор, упирает сноп света в самую палубу, хохочет. Васька Дроздов, тридцатилетний магрос, стоит у низкого борта и мочится в океан. Грозит Цыганку, чтобы не ослеплял, тот отводит прожектор, и опять толстый луч бестолково топчется по волнам.

В середине ночи нас сменяют. Я снова не могу заснуть из-за качки. Женя и Цыганок видят уже десятый сон. Скрипят деревянные переборки, железный корпус «Синегорска» отдает дрожью на каждый удар волны.

Время от времени меня посещает мысль о той адовой глубине, что под нами. Плаваю я не ахти как здорово. Если меня когда-нибудь смочит с палубы...

— Рядовой Буданов, выйти из строя!

Я покидаю шеренгу, печатаю шаг, поворачиваюсь лицом к фронту шеренги.

— Товарищи, рядовой Буданов, как вы знаете, не в первый раз выходит на это место. Месяц назад он отсидел пять суток за самовольную отлучку из расположения части. Не блистал он дисциплиной и раньше. Вчера рядовой Буданов, находясь в карауле, вступил в пререкания с сержантом Белогуром и нагрубил ему. Рота, смирно! Слушай приказ!..

...Я на «губе». Высоко под потолком — крохотный голубой квадратик окна в «клеточку». Ночь кончилась, деревянные нары, которые мы зовем «вертолетами», унесли, а полежать еще хочется. Скучно в одиночке. Я прочитал уже все записи на стенах. Грустная: «Ну, какие они гады, бабье! Пока ходил к ней, все было в ажуре. Перестал ходить — сижу здесь: пришла и выдала комбату с головой». Потрясающая: «За что сижу, братцы?!».

Холодно... Кутаюсь в шинель, встаю и наярываю чарльстон. Но все равно холодно.

...Я просыпаюсь. В каюте свет. Женя Босак, в одном исподнем, встрепанный и заспанный, что-то пишет, тычась носом в тетрадь.

— Поддай одеяло.

— Стихи хочешь послушать? — спрашивает он, кидая одеяло. И тащит на меня голубые глаза.

Я пью проклятую кулагу,
терзаюсь и ночей не сплю,
и в иступление рву бумагу,
где пишешь ты: «Люблю, люблю».

— Ну?

Я молчу. Что я ему скажу? Что все это пето-перепето? А кулага давно выпита?

Женя выжидающе смотрит на меня.

— Слушай, — говорю ему и читаю:

Глухой окраины отшельная жилища,
где стынет полугодовая тьма,
от слез пролитых должная размыться,
осела в землю старая тюрьма.

Эти стихи я оставил на стенах девятой камеры гауптвахты.

— Ты думаешь, я не знаю, как писать? — спрашивает Женя. — Берешь тему, кучу персонажей отличных и сволочных, заостряешь собы-

тия, делаешь центральный или кульминационный эпизод в героическом плане, исправляешь сволочей в людей — и подноси читателю. Но меня тошнит от этих стандартов, которыми завалены все книжные прилавки. А вот Ремарка и Аксенова не купишь. У них герои всегда остаются такими, какими они с тобой знакомятся. Сволочи — сволочами, люди — людьми...

Я засыпаю под аккомпанемент его содержательной и в общем-то правильной тирады. Хочется досмотреть сон, увидеть старичков и салагоднополчан...

Опять «губа». И снова из-за Белогура. А я только обругал его. Когда он опять послал меня вне очереди в караул, я взорвался.

— Ах ты, гад! Бандеровец обнаглевший. Дубина необразованная! Цоб-цобе!

Бандеровец и гад — это ерунда. Он бы только приплюсовал мне нарядов. Но «цоб-цобе» было нокаутом. Опомнившись, он опрометью кинулся в канцелярию комбата. В тот же день меня посадили под следствие.

...Длинные, отвратительные звонкие трели прерывают сон.

— Чё пialiшься? — кричит Цыганок. — На палубу!

В смежной каюте Васька Дроздов громко и недобро поминает кэповскую мать. Он выскакивает на палубу последним.

Океан ещё не уgomонился. Сырой холодный ветер рвет гребни волн и швыряет в нас. В просторных прорезиненных робах мы похожи на истуканов, на нелепые изваяния языческих богов.

Наш тралмастер Миша Повелайтес — мы зовем его Повелас — уже на планшире. Кэп с мостика что-то рычит и грозит Повеласу кулаком. Между прочим, хорошо что рычит: у Мишки не берегу два пацана, а он лезет на планшир. Волна-то не маленькая... Конечно, это здорово: висеть над ревущей бездной, одной рукой держась за стойку люстры. Ну и, конечно, он малость рисуется. Его рыжая шевелюра в свете люстры горит адским букетом. Пожар на голове. Смешно и красиво. Повелас заикается; когда волнуется — особенно.

Мы с Васькой стоим вдоль другого борта, тихо материм кэпа. Сайры не так уж много, не стоило из-за этого поднимать нас.

— П-п-первая! — отчаянно кричит Повелас.

Первая люстра гаснет.

— В-в-вторая!..

Гаснет вторая. Косяк идет на свет, переходит с левого борта на правый, где спущена дель¹. Мне хочется спать, я закрываю глаза. Набежавший вал кладет траулер градусов на тридцать. Я падаю грудью на борт. Боцман, стоящий у брашпиля, скупно улыбается. Я громко ругаюсь.

— Тре-е-етья! Ч-ч-ч-четвертая! — Повелас прыгает, уже на носу. Сайра заходит между правым бортом и делью.

— П-п-пятая!.. С-с-с-седьмая! — Миша подвел косяк к борту, прыгнул на палубу.

— К-к-к-к... — он долго не мог выкрикнуть «красный свет». Когда его включили, косяк на мгновение остолбенел, потом остервенело рванулся на поверхность и, сбившись в огромный плотный ком, застыл. Этот живой ком трепало волной и било о борт.

— Вира, вира грузила! — опередив команду тралмастера, завопил с мостика кэп. Повелас оглянулся на мостик и даже в красном свете люстры стало заметно, как он бледнеет. Видно, он что-то хотел сказать, но, махнув беспомощно рукой, промолчал.

¹ Дель — сеть-ловушка.

Улов был неважный. Центнеров пять.

— Не улов, а слезы.

— Море цедим, — зло бросил Васька Дроздов. Мы молча затарили рыбу, закрепили корзины веревками. Усевшись на трюме, закурили.

— Потравим? — смеясь глазами, спросил Васька. Повелас сел рядом, в несколько затяжек искурил сигарету. Обжег губы и изругался.

— Миша, а ты что ему спускаешь? — спросил Дроздов. — Сколько я помню, нигде еще кэпы во время лова поперед батьки-тралмастера у пэкло не лезли.

Повелас сразу взорвался и долго не мог выговорить слова, которого здесь, впрочем, нельзя написать. Не первый раз затравливает Васька ребят. Такая у него поганая привычка: наускивать одного на другого. А когда нервы на пределе, то любой клюнет на затравку. Как сейчас Повелас:

— М-м-не-то что? — мычит он. — Я могу совсем не кричать, пусть сам глотку д-д-дерет, она у него луженая. Тогда пусть и за делью следит, чинит ее и в-в-все прочее.

Васька, разбойник, посмеивается, нет-нет и плеснет масло в огонь. А у Повеласа лицо уже под цвет волос.

— Я в м-м-м-мастера не просился! — мычит он. — Я и оп-оп-оп-опять могу просто матросом!

Повелас плюется и, шарахаясь по качающейся палубе, уходит в кают-компанию, которая служит нам и столовой. Потравив еще немного, мы идем следом: в столовой жареная сайра.

— Камдей! — кричит Васька. — Сожрал, наверно, сайру?

Камдей — это тоже сокращенный морской термин: камбузный деятель. Необычайно ленивый кок у нас, «ископаемый»: он по национальности кавказец, из какой-то редкой этнографической группы, насчитывающей несколько сот человек.

— Зачем сожрал! — лениво откликнулся камдей и с размаху ставит на стол огромную алюминиевую чашку. — Зачем сожрал! Кушайте, пожалуйста, пока по швам не расползетесь.

— Ну-ну, — обрывает его боцман, у которого при виде камдея от ненависти сужаются веки. Я уже однажды был свидетелем их драки. Так, ни из-за чего схватились. Боцман приземистый, как все восточные сибиряки, а камдей выше его на целую голову: витязь в тигровой шкуре. Но боцман плевал на исполинскую внешность кавказца; и мы только рты разинули, когда он кинул камдея на лопатки. Ударить не успел: мы подбежали и растащили. Однажды, когда боцман вернулся с «Никишина» и изо рта у него перло тройным одеколоном, я дал ему закурить, спросил:

— Ты за что камдея ненавидишь?

— Гад он, — зарычал боцман и начал буреть. — Убью когда-нибудь.

— Брось, ерунду порешь...

— Или за борт выброшу. И не твое дело, салага.

В воскресенье утром мы сдавали на «Никишин» рыбу, и я увидел Тольку. Вернее, он первый меня увидел и заорал:

— О-го-го!

— О-го-го! — откликнулся я, и через пять минут мы тискали друг друга и били по спине и плечам. Толька за этот месяц повзрослел и стал еще грубее. Телячьей растерянности в глазах нет и в помине.

— Ну, как живешь?

— Лады, — рассмеялся он. — А ты что сдал на морду? Трудно?

У себя в каюте он познакомил меня с «крошкой» из цеха бланшировки. Так и представил:

— А это моя крошка.

— Ива, — пропела крошка и, не вставая с постели, протянула миниатюрную лапку. Царапнула мизинцем ладонь, когда я пожал ее. Рассматривала меня, как диво, и я тоже пялился на нее, не отрываясь. Лет ей было восемнадцать-девятнадцать. У нее изящная фигурка, прямо анатомический шедевр. И личико такое милое. Свежее, как несозревший персик, а губы...

— Вы вправду стихи пишете? — Ивочка перевела взгляд с меня на Тольку. Вот подлец, выболтал что девчонке.

— Это он вам сказал?

— Нет, правда, я еще не встречала парней, которые пишут стихи. Теперь я смотрел на эту девочку с губами грешницы Магдалины, как на ископаемое. Чудачка, чепуху порет.

Когда шли в столовую, я предупредил друга:

— Смотри, не женись. Тогда — труба. Крест на жизни.

— Ну ты, бэгу-вэгу, советчик, — немного обиделся Толька. — Я с ней уж дней десять живу.

— Она что, из... этих? — спросил я.

— Дурак! Я с ней расписаться хочу.

Вот так я потерял друга Тольку. Бесшабашного, грубоватого, но преданного друга. То есть, мы с ним и сейчас связь поддерживаем, но лично я его жизнь уже перечеркнул. Труба Толькиным планам. А ведь клялся, что до тридцати будет холостяком.

...Бьет в иллюминатор волна, шипя, сползает по стеклу пена. Опять мне не спится. Прошли ноябрьские праздники. Ночью радист вывел рупор на палубу, и Москва поздравила нас первых. Так и сказала: «Поздравляем дальневосточных рыбаков». Больше мы ее не слушали, потому что сайра пошла дуром и мы всю ночь вкалывали, как черти.

— Пьют сейчас дома, — на всю палубу вздыхает Дроздов. — Хоть бы догадались за тех, кто в море...

— Догадается... с другим, — ляпнул с мостика кэп. Васька изругал его жестоко, ушел в каюту и, когда мы туда спустились, он ничком валялся на койке, а в каюте стоял папиросный туман.

— Вася, брось, — сказал боцман, хмуро топчась около него. — Кэп — сволочь. Молокосос еще, разве ему морскую душу понять. Брось, Вася...

...Вчера убили Кеннеди. Какой-то тип застрелил в Техасе, когда тот ехал в машине. За что? Все политика. У меня в голове какие-то сумбурные настроения. Два месяца назад я еще утюжил пыль на плацу, тянул носочек. Меня ждали дома, а я сидел под следствием. Я тогда здорово переструсил, но все оказалось «тип-топ». Потом мы с Толькой мотались по Владивку в поисках «экваториальной экзотики», и за душой у нас гроша ломаного не было. Толька женился, чудак... Я тоже ведь женился когда-нибудь. Вот тогда я и скажу «прости-прощай» экзотике и всем наполеоновским планам, которые кружат голову в возрасте двадцати двух лет. Толька-то уж, наверное, сказал. И зачем женился? Может быть, он нашел ту, которую некоторые ищут всю жизнь? У меня было несколько знакомых девчат. Самая лучшая память о той, которую поцеловал первый раз. Танечка... Милая такая девчонка, была. Отличница... А я последний разгильдяй в классе. Я даже не знаю, любил ли ее. В «Мертвой петле» мой кумир Уточкин говорит: «Женщин нежных, знающих все и ничего не боящихся... Таааких женщин нет».

Да, таких женщин, наверно, нет. Не знаю даже, была ли такой Та-

ня, как не знаю, любил ли я ее. Просто здорово нравилась. Я от одной дамы слышал, что самая сильная любовь — первая. Выходит, у меня любви еще не было. А те девчонки после Тани — так, суррогат, имитация любви... Интересная эта штука — жизнь. Непознаваема она. Сколько б ни жил, ни рождал истин и изобретал велосипед, умрешь дураком из-за какой-нибудь чепухи. Как тот матрос, на койке которого я сейчас не могу уснуть. И вообще-то все эти думы — муть голубая. Вот Толька лежит сейчас на «Никишине», засыпает у теплого плечика «анатомического шедевра» и ему все прочее до лампочки. Каждую минуту в мире происходит тысяча трагедий, и если за каждую переживать, то не проживешь и минуты. Тольке, наверное, плевать на то, что где-то в Техасе, забыв об аристократических манерах, по-бабьи заходится вдова Кеннеди над его телом. У президента, конечно, была «ума палата», иначе в сорок лет он не стал бы главой правительства. А сейчас со всех концов мира в адрес Американского департамента идут слезные соборезнования.

Вся беда в том, что Диогена из меня не выйдет и до сути жизни все равно не докопаешься. А если и докопаешься, все равно это будет второй велосипед. И на тебя будут казать пальцем и смеяться: «Колумб Америку открыл». Тольке сейчас лафа...

Меня не разбудили на завтрак, и я проспал до двенадцати. Проснулся от того, что в каюту влетел Цыганок, что-то крича. Наконец я понял: — Японцы!

Красивая, как отдыхающая на волне чайка, японская шхуна показывалась метрах в пяти от кормы. Все матросы были уже на палубе. Мы кидали японцам что было: «Беломор», журналы, хлеб. Приземистые белозубые азиаты стояли на носу шхуны, бросали нам пачки японских сигарет и кричали:

— Рус, рус!

Они малость смахивали на пиратов, эти смуглолицые раскосые дети моря. Почти у всех головы были повязаны короткими платками, а у бедра болтался рыбацкий нож.

— Рус, рус, дластвай! — кричали они и смеялись, и, сложив ладонь в ладонь, потрясали ими над головой. — Дластвай!

Внезапно траулер затрясло: запустили двигатель. Кэп, встрепанный со сна и зеленый от злости, стоял сзади нас на батдеке и что-то кричал. Что, я уже забыл, мне не до кэпа было. Я смотрел, как медленно отдалялась от нас белая шхуна, как хмурели секунду назад приветливые лица азиатов. Я не понимал, в чем дело. Позже Слава Кириченко объяснил: политика.

— Забоялся кэп провокации. Мол, пока мы с ними базарим, очень может быть, что из какой-нибудь дыры смотрит на нас око кинокамеры, а магнитофон записывает наши крики. А потом слова они могут переврать, а кадры оставить те же. Вот и труба кэпу.

Эх, политика, бэгу-вэгу...

...Позавчера, уже под утро, мы поймали акулу. Небольшую, метра в два. Когда косяк сайры подвели под дель, она, дура, все продолжала жрать рыбу, а потом заметалась, да поздно. Уж как она билась на палубе — не подойти! Цыганок ее раза два огрел копром, а ей хоть бы что. Потом мы изловчились, набросили ей на хвост петлю и «свирали». Когда она повисла вниз головой, из пасти на палубу вывалилось ведро полтора сайры. Вот прожора! Нам всей командой за обед столько не съесть.

Рассвело, и все стали позировать у заснувшей акулей туши перед Славой Кириченко. Он морщил облупленный нос, щурился в глазок фотоаппарата. Потом брссал:

— Следующий!

— А ты что? — Васька толкнул меня к акуле, от которой начинало уже пахнуть. Мне было противно. Прогивно согаять у тухнувшей, висющей вниз головой обжоры и держать ее за плавник.

— Не хочу.

— Ну и дурак. Редкий кадрик. На всю жизнь.

Чихать мне на такой кадрик. Дешевка это, а не экзотика. Подумаешь, оригинальный снимок: когда рвать тянет, стой около обжоры и улыбайся. Конечно, если потом показать такое фото сухопутным олухам, от него не будет нести дохлятиной, но все равно противно. Особенно когда помотришь на открытую пасть и злые помутившиеся глазки. Я демонстративно плюнул на акулу и ушел на батдек. Вчера от Тольки пришло письмо. Пишет, что поженились они с крошкой. По-казенному — расписались. Ладно, дело хозяйское. Я снова перечитал письмо.

«...Ну, что еще? Работаю на процессе. По двенадцать часов вкалываю. Ничего, привык уже.

Да, про Кеннеди-то слышал? Мокрое дело вышло. Дураки они, американцы, такого президента угробили. Он ведь у них самый головастый из всех, что до этого были, хоть и молодой. Ну, ладно, не уберегли, теперь пусть сами расхлебывают.

Чудные дела вокруг нас, Валерка. Одни люди на полюсе мерзнут, другие по морям-по волнам, третьи всю жизнь «делают» деньги. Все интересно. Я вот своей «крошке» говорю это, а она смеется: ты, говорит, как маленький, думаешь жизнь вокруг одного тебя вертится. В общем, у нас с ней каждую ночь политические диспуты, и чувствую, что она меня в них под каблук ставит.

...Но ты не дрейфь, где наша не пропадала! Все будет «тип-топ», как ты любишь говорить. Ну, пока, береги дыхание, дыши через нос и глубоко, дистанция у нас длиннее Млечного Пути. Жму краба».

Жаль, что Толька сейчас нет рядом: Посидели бы на батдеке, покурили молча. А сейчас я сижу здесь один. Листок из письма еще болтается в воздухе, не хочет падать на волну. Падай и тони. Пусть тебя занесет илом, а через миллион лет, когда на месте океана будет суша, произведут археологические раскопки и бережно извлекут из земли тоненький окаменелый листок. Пусть они прочтут и удивятся тому, какие умные ископаемые жили на заре эволюции, миллион лет назад. Какие чуткие, добрые. Им все будет понятно. И кто такой Толька, и кто такая «крошка», и кто такой Кеннеди, которого убили, и кто такой Валерка, у которого, наверное, ветер выдувает слезы. Только они не поймут, что такое «тип-топ» и не узнают, что это не мои слова, а одного парня из аксеновского романа. Пусть они терзаются догадками над этим маленьким окаменевшим листком, над которым два дня назад пыхтел Толька. Пусть они спрячут его под музейный колпак с надписью: «Письменность эпохи раннего неолита. Миллион лет назад». Пусть будут смотреть на него и думать о людях прошлого, которые искали свои пути среди суеты сует и отвергали кастовую структуру политики: президенты и пешки. Мы не пешки. Мы еще докажем это.

...Мы штываем третьи сутки. Восьми-и десятибалльные штормы сменяют один другого. Я стою на руле, чиф, расплющив о стекло нос, не мигая, смотрит в темноту. Третьи сутки жутко ревет океан, урча, пе-

рекатывает по палубе шипящие, злые валы, плюет в окна мостика солесной пеной. Третьи сутки мы спим как попало, не больше трех часов.

Из радиорубки надоедливо и бесстыже несется эстрадная музыка. Передают лирический концерт «Золотая осень». Заслуженный артист республики Владимир Бунчиков со слезами в голосе повествует о «Грустной осени».

Листья осенние медленно падают,
Птицы давно улетели,
Скоро придут метели...

Потом Бунчиков захлебывается слезами и слышится монотонный голос радиста:

— «Никишин», «Никишин», я — «Синегорск», прошу ответить. Прием.

Громадный вал, ухнув на палубу, шипит змеей и идет к корме. Налетев на рубку, он разбивается и сникает. От его удара дрожит рубка, ругается чиф и исходит театральной слезой Ружена Сикора, сменившая Бунчикова. Ей рукоплещут. Аплодисменты, от которых вибрируют стены, рядом с ревом стихии напоминают нескромный шелест нового платка. Пой, Ружена! Громче аплодисменты, не то я усну. Непередаваемо дико желание спать. Прямо тут, на мостике, упасть на пол и храпеть, заглушая аплодисменты и стихию.

— «Никишин», «Никишин», я — «Синегорск», прошу ответить. Прием.

Приема нет. «Никишин» далеко. Наверное, зашел в Малокурильскую бухту и помалкивает. Что же вы молчите, Толька? Нам тоже хочется зайти в тихую бухту и спать, спать...

— ...Прошу ответить. Прием.

Где же ваша морская этика, Толька? Даже двуличные политики оказывают друг другу дипломатический прием, лгут, изворачиваются и, тая на душе гадости, говорят любезности. А, Толька?

Хороший голос у Ружены. Пой, Ружена, твоя песня, как колыбельная, под нее так сладко дремлет.

— Ты что, утопить всех хочешь?! — трясет меня за плечо чиф. — Выравнивай судно, захлестнет!

Ах, Ружена, бессовестная Ружена! Ты сладкоголосая сирена, но не думай, что мы лопухие одиссеи. Необязательно заливать уши воском. Можно послать к черту твою похожую на колыбельную песню и выравнивать траулер носом на волну.

На мостик пришел кэп. В рубашке и кожаных шлепанцах он выглядит менее экзотично, чем когда я увидел его в первый раз на «Никишине».

— «Никишин» молчит? — спросил он у чифа.

— Молчит.

Кэп прошел к радисту. Через минуту появился снова, хмуро сообщил:

— Цунами идет.

— Когти надо рвать, — сказал чиф, не отрываясь от окна — Иначе крышка.

— Не перевернет, — задумчиво сказал кэп. — Не перевернет, у нас остойчивость — лучше не надо. Но спрятаться не мешало бы.

— Сколько до Шикотана? — спросил чиф.

— Миль сто сорок. Удрать не успеем, из полосы бы выйти.

— Да, — согласился чиф. — Рвать надо.

Чиф — замечательная личность. Когда он в мой первый день на «Синегорске» читал мне «Технику безопасности», я исподтишка рассматривал его.

— Эх-хо! — сказал он тогда вместо «здравствуйте». — Еще один зеленый. Что мне вас, солить?

Ему под сорок. Основными штрихами его внешности и натуры были плешь и упрямство. Плешь он тщательно маскировал, начесывая на нее жидкие кустики с висков. Зато упрямство так и выпячивал. А в общем он был чудный мужик, попал на море случайно, и оно засосало его на всю жизнь.

— Ты не гляди, что я молодой, — говорил он. — У меня сын скоро с тебя будет.

— Взрослый уже?

— Четвертый год...

Сейчас чиф предлагал кэпу «рвать когти».

— Цунами, — уткнувшись носом в стекло, сказал он, когда кэп ушел, — не посмотрит, что меня на берегу сын ждет, а тебя фифа какая-нибудь. Он как даст, так от нас одна память останется. Тебе что, твоя фифа другого найдет, а мой сын..?

У него всегда в запасе был неопровержимый аргумент.

— Вот в Колонном зале сейчас лирический концерт, — разгонял он мой сон. — Видал, как заходится? Аж в затылке звенит! Ей что? Она сейчас отпоеет, потом в ресторан покатит с поклонником. Будет лакать грузинское вино и закусывать шпротами или сайрой. Ей и в голову не придет, как мы здесь кувыркаемся, чтобы у нее на столе полный деликатес был. Мораль?.. Ты спишь, что ли?

— Что? — раздирая веки, спросил я.

— Мораль, я спрашиваю, какая?

— Да бросьте вы, Георгиевич. Вы у Ружены о морали спросите. Я сейчас чихал на все морали, кроме одной: поспать, хотя бы на ее концерте.

— А я, думаешь, нет? — спросил чиф — Ого, «дура» какая!

«Дура» ухнула на носовую рубку траулера, и он заходил из стороны в сторону, заюлил, затрясся.

— Ну, что там «Никишин»? — крикнул чиф в открытую дверь радиорубки.

Радист молчал. Старпом прошел к нему.

— «Никишин», «Никишин», я — «Синегорск». Прошу ответить. Прием, — донеслось скоро оттуда.

Вернувшись от радиста, чиф вздохнул.

— Спал. Умаялся парень в стельку. Круги под глазами. А флагман молчит.

Георгиевич вздохнул еще раз.

— Конец вахты скоро.

Скоро... Еще добрых полчаса вытанцовывать мне на руле медленный твист.

— Придем в Находку, пацану машину куплю, — сказал вдруг чиф. — Видел такие машины: пацан в ней сидит, педалями крутит, а она идет?

Видел я такие машины.

— А себе когда машину купите? — спросил я.

Чиф посмотрел на меня, улыбнулся.

— Ты что?.. — и выматерился. — Как будто первый день на свет народился. Чудило!

— А что! У кэпа, говорят, есть «волга». Почему бы вам не занять?

— Ты еще, паря, зеленый, как капуста. И в мозгах у тебя еще полovina галлюцинного добра. Знаешь, как кэп машину заимел?

— Нет.

— Ну, и не надо. А то, если всем рассказывать, а они будут покупать машины таким макаром, мне и мотоцикла не купить.

Ладно, мне не очень-то и хочется знать кэповские комбинации. Кэп из Одессы, он любую коммерцию провернет.

Принимать вахту пришел Васька. Он тоже сначала сунулся к радисту, спросил про «Никишин».

— Что же он нас в море держит?

Я уже хотел уходить с мостика, когда Васька оживился:

— Камдей сейчас чуть за борт не сыграл. — И рассказал: — Я на батдеке блевал как раз: не знаю, с чего это у меня сегодня. Смотрю, камдей идет из кубрика. Ему бы, дураку ленивому, волну переждать и — бегом к дверце. А он по палубе, как гусак по бульвару, вышагивает. Ну, только он за дверцу взялся, тут волна его и подкараулила. С головой накрыла. Когда за борт стала уходить, смотрю — камдей туда же. Оглушило его, и он вверх брюхом, как карась, прямо за борт идет. Пока я с батдека слетел к нему да волну переждал, смотрю, боцман его за ноги держит, а весь остальной камдей за бортом висит. Ну, я подбежал, еле вдвоем вытащили, тяжелый, стерва, центнер, наверно, весит. Теперь будет знать, как на палубе гусаком разгуливать.

Боцман спас камдея! Я не верю. Боцман, который месяц назад грозил вышвырнуть его за борт, вытащил его за ноги почти из моря, когда, как говорит Васька, «весь остальной» камдей висел над ревущей глоткой океана. За что же он тогда хотел выбросить камдея в море, какдохлую сайру?

— А за то, — нахмурился Васька. — За что мы друг друга гробим? Из-за бабы. Думаешь, они первый год знакомы? Лет семь уже. Соседи, чуть не друзьями были. Один раз боцман в пугину ушел, а камдей на берегу остался, болел. А когда боцман через одиннадцать месяцев домой пришел, баба его уже месяцев шесть брюхатая была. Боцману рассказали, кто ее без него обхаживал. Бабы, они ведь липучие до таких, как камдей. Вон он красный какой, что боров. Самец, одним словом.

Да, если это так, то камдей сволочь. За такое и за борт не грех выкинуть. А боцман-то?.. Вот вам и пропойца!..

Когда я открыл дверь в кубрик, камдей лежал на нижней койке, смотрел на своего спасителя и плакал. Круглые коровьи слезы сползали по щекам к вискам.

— Леша, прости...

Рыхлый живот его колыхался в такт всхлипываниям.

— Что прощать-то? — с натугой спросил боцман. — Разве простишь такое: семью разбил...

«Не простишь», — чуть не вырвалось у меня. Если бы боцман взял камдея за ноги, а меня попросил подержать под мышками, я бы не отказался раскачать эту рыхлую утробу и смайнуть за борт. Но боцман только тяжело дышал и повторял:

— Разве простишь такое: семью разбил?!

Я так и не переступил порога кубрика.

...Мы идем в Малокурильск. Заправиться горючкой, взять пресной воды, то, пятое, десятое. И отдохнем, конечно. Пришвартуемся к деревянному причалу, постоим сутки и вот тогда-то выспимся. Качки в бухте нет, и спать можно сутки напролет. Сегодняшнюю ночь мы еще порыба-

чим, чтобы не прийти с пустыми руками. Ночью уже холодно: конец ноября как-никак. Когда тянешь мокрую дель, пальцы в суставах немеют. Но все эти трудности гасит мысль о том, что через неделю после Малокурильска путина кончается, и мы идем во «Владик» — Владивосток, который ждет не дожидается нашего возвращения, чтобы за месяц-два стоянки и ремонта траулера обглодать нас, как липку, выпотрошить наши карманы. Шумный, веселый, неоновый Владивосток, где мы с Толькой неделю питались по два раза в день гарниром и чаем, наводя ужас на официанток своей безграничной любовью к бесплатному хлебу.

Давно стемнело. Сегодня необычный для ноября теплый вечер. Мы уже начали поиск рыбы. В темноте по горизонту уйма огней. Все наши траулеры и японские шхуны сошлись в одном квадрате. Кое на каких судах делают первые заметы.

Я сижу на прожекторе и пою:

Если радость на всех одна,
на всех и беда одна.
В море встает за волной волна,
а за спиной — спина.

Чуть покачивает. Хорошо-то как, боже ты мой! Тихо, ветер чуть-чуть бархатно гладит лицо. Даже не верится, что день назад океан бесился и разевал свою бездонную пасть на наш траулер. И камдея чуть не сожрал. Дурак камдей. Вчера в столовой говорил всем, хотя никто его за язык не тянул:

— Приеду — разведусь. Не могу с ней жить. Как вспомню, что Алексей меня спас...

— Ну-ну, — оборвал его боцман, не поднимая от миски головы. — Хватит исповедоваться. Лучше добавки дай, если есть.

Камдей опрометью кинулся на камбуз исполнять просьбу спасителя...

Молодец наш боцман! Замечательный человек. Ходит все время хмурый, матерится неистово, но сейчас-то я знаю, какая у него чудесная душа.

Здесь, у самой кромки борта,
друга прикроет друг,
друг готов уступить всегда
место в шлюпке и круг.

Мне легко и весело. Васька с Женей Босаком уселись на трюме с гитарой. В свете единственной лампы полыхает огненная шевелюра Повеласа. Рядом с ним смеются Слава Кириченко и другие свободные от вахты матросы. Это они над Васькой смеются. Тот исполняет «Синегорские страдания».

Трали-вали, трали-вали,
пропоем вам в темноте,
как мы плавали-штывали
на железном Сэ-Ри-Тэ.

Капитан с мостика свесился и тоже слушает. Молчит, попыхивает сигаретой. Не разрешал нам с японцами якшаться, а сейчас спрашивает у всех сигареты, которые подарили нам раскосые рыбаки.

Мы расскажем по секрету,
наша ночка чем полна:
сайры то в помине нету,
то вдруг много, как...

Вот ведь чертяка Васька! Ох и злоязыкий, ох и зубастый!

— Дроздов! — заныл с мостика кэп. — Ты что-нибудь лиричнее и без навозного юмора.

— Не могу, — откликается черт-Васька. — Не могу петь того, чего на душе сейчас нет. Вот на берег сойдем, тогда уж я лирику выдам!..

Всю эту картину я вижу, как на ладони. Проектор стоит на носовой рубке, я сижу чуть повыше его и искоса наблюдаю и слушаю, что творится на палубе. И при этом смотрю, как скачет по воде луч. Вдруг...

— Стоп, машина! Лево руля! — ору я, оборачиваясь к мостику.

Огромный, невиданный доселе мною косяк длинным полукилометровым шлейфом серебряно выплескивает под лучом прожектора слева по борту. Через минуту мы оказываемся в самой середине его. Сайры, как грязи, мы почти вязнем в густом месиве рыбы. Повелас уже на планшире

— П-первая! — почти не заикаясь от радости, кричит он. Радоваться есть от чего: мы впервые напали на такой косяк.

— В-в-вторая! Т-третья!

Дель уже за бортом.

Люстры гаснут быстрее, чем обычно. Собственно, по левому борту их можно было не включать, а сразу зажечь те, что стоят на правом борту.

— К-к-к-... — Не договорив, Повелас рубит рукой воздух. — Красный свет!

Едва сделав один зачет, мы снова выбрасываем дель за борт. Опять вспыхивают многосвечовые люстры. Мы выловили сразу центнеров 20, а сайры еще очень много. Справа, слева, по носу, за кормой — стометровое поле, густо заполненное рыбой. Можно взять 500, а если справимся, тысячу центнеров, то есть столько, сколько иные траулеры берут за месяц. Нечеловеческая алчность туманит нам головы. Еще один зачет — еще 30 центнеров. И снова дель за бортом.

Я слез со своего насеста. Мы идем с левого борта за идущей по свету рыбой на правый борт.

— Скорее гаси! — неистовствует на мостике кэп. — Скорее, сукин ты сын, — дельфины.

О, дьяволы! Двух- и трехметровые морские разбойники торпедами снуют в кишачем месиве сайры. И удивительно, не пожирают, а разгоняют ее! Это же надо, такой разбой!

— Вира грузила! Суши дель! — кричит Повелас.

Два дельфина, оказавшиеся в дели, с небольшого разгона прошивают ее. Потом один возвращается и прошивает сеть вторично. Это выглядит как отмщение. За что? За сайру?

Мы «сушим» дель. Жалкий улов третьего зачета — несколько десятков килограммов, вся остальная рыба ушла в проделанные дельфинами окна — выбрасываем за борт, где дельфины продолжают разгонять косяк.

— Гаси свет! Все огни гаси! — сипит охрипший кэп.

Минуты две нас качает в полной темноте. За бортом непонятный шум, напоминающий шипение кипящей воды. Включаем люстры.

«Синегорск» одиноко покачивается на легкой волне. Под снопами света люстр — зеленовато мерцающая вода. Без единой сайринки Нет

косяка. Как будто и не вязли мы десять минут назад в рыбьем месиве. Траур нашего молчания пресекает окрик кэпа:

— Буданов, на прожектор!

Но как ни изворачивался я на своем прожекторном мостике, обшаривая лучом океан, косяка нигде не было. Развернулись на месте, я пошарил прожектором по кормовому курсу — бесполезно. Косяк канул. Минут пять спустя мизерный косячишко хило всплеснулся рядом с «Синегорском».

— Эй, на мостике! — показал я на косячок. Капитан брезгливо поморщился:

— Ты теперь из-за каждой рыбешки будешь кричать?

— Да наплевать мне на нее! Не надо было ушами хлопать!

— Я тебе дам — ушами хлопать! — засипел одессит. Не оборачиваясь, я злобно улыбался. Все-таки он надорвал глотку, коммерсант. — Я тебе покажу, с кем разговаривать! — сипел он мне в спину. — Ишь зелень! Без году неделя как плавает, а уже на капитана нос дерет!

Чего развонялся, спрашивается? Виноват я, что ли, что косяк исчез? А косячок был на славу... Куда же он делся? Я вяло водил прожектор из стороны в сторону.

За спиной, на палубе у трюма, захохотали. Искренне, давая волю нервной разрядке. Потом Васька, пощипав струну, театрально всхлипывая, пропел:

Мы расскажем по секрету,
Наша ночка чем полна:
Сайры то в помине нету,
То вдруг много, как...

Наутро, после завтрака, вспоминали о косяке, поцокали языками — Давно столько сайры не встречали.

Подожел кэп. Хмурясь, стал рассказывать:

— Теперь на собственном опыте убедился, что не врут. Недавно читал в журнале, будто дельфины пасут стадо рыб.

— Пасут? — удивился Слава Кириченко и расплылся в улыбке. — Травите, капитан!

Кэп нахмурился еще больше. Фамильярный тон Кириченко ранил его самолюбие.

— Ты слушай, что тебе умные люди говорят.

И умный человек выдал нам несколько сенсационных уток. Будто бы дельфины живут разумной жизнью. Главным занятием подводных кочевников является уход за огромными стадами рыб, которые они оберегают от других хищников. Таким образом, они всегда сыты и нос у них в табаке. Еще кэп трепался, будто дельфины очень дружелюбны и много раз спасали тонущих. Все это мы воспринимали с сомнением, что не ускользнуло от кэпа. Кажется, он расстроился даже. Я, правда, тоже читал, что дельфины умные твари. Но чтобы они жили разумной жизнью, это уж извините. Может быть, эти озорники и спасали кого, я не знаю, но если бы кто из нас свалился за борт, то дельфины вряд ли удостоили бы его джентльменским обращением: когда они начали разгонять косяк, мы швыряли в них чем попало, а второй механик, сутулый, двадцатилетний флегматик, устроил целую канонаду из дробовика. Ни один из дельфинов не всплыл вверх брюхом, но если они и вправду хоть немного мыслят, то наивно после этого надеяться на дипломатию с их стороны.

Трепотня о дельфинах продолжалась. Чего только не несли по их

адресу. Кто-то начал врать, будто дельфины поют. Мы тут же пообещали рассказчику при первом удобном случае скинуть его к подводным жрецам искусства, чтобы он разузнал программу их вокальных концертов. Но Васька Дроздов переплюнул всех. Без тени улыбки, божась через слово, он рассказал, как однажды купался, а к нему дельфин подплыл и начал глазки строить и как будто улыбался.

— Я как ее рядом увидел, — плел Васька, — так меня столбняк хватил, и я солдатиком на дно. А она меня из глубины на спине вынесла и плавником гладит по голове, по груди.

— Почему она? — недовольно спросил кэп.

— Так ведь это дельфиниха была. Ходит вокруг меня, хвостом виляет, ну как девка бедрами. Я уж потом догадался, когда другой дельфин подплыл, да как врежет хвостом ей и мне по задницам. Ну, она сразу в кусты, а я... проснулся.

Раздосадованный кэп махнул рукой:

— Звонарь, — и ушел.

А Дроздов ему вдогонку рассмеялся.

— Мне что? Только услышать, от кого звон идет, да поддержать. У кэпа на затылке дернулась кожа.

...На Шикотане было уже холодно. Вулкан Тятя, стоящий на траверзе входа в бухту, ухарски сдвинул набекрень снежную шапку Мономаха. Оттуда, из-под шапки, клубился пар или дым. Недалеко от входа в бухту стоял на якоре «Евгений Никишин».

— Вот он, голубок, — сказал Васька Дроздов, когда мы продефилировали у кормы краболова. — А-эх, черт!..

Толпа работниц из обработочных цехов, стоя на обеих палубах, махала нам косынками и руками.

— Приветик, приветик! — кричал Васька. Дьявольский огонек плеснулся в его цыганских зрачках. — Э-эх... Эй! — заорал он вдруг. — Кто к нам? Мы давно уж с вами не знали, любить ох как крепко будем!

Девчата хохотали.

— Здесь своих хватает!

— Э-эх... — вздохнул Васька со стоном. «Синегорск» обогнул корму флагмана, потом показал ему свою.

Мы вошли в бухту.

В Малокурильске все было по-старому. Так же жалко высывались из воды затопленные шхуны-браконьерки. И чайки по-прежнему оголтело носились над бухтой, в которой стояло сейчас больше сотни траулеров и сейнеров. Наш СРТ развернулся, отработал задний ход и втиснулся кормой между двух других судов, с которых нас немедленно весело обложили.

— Ладно, ладно, — хмуро ответил им с мостика кэп. — Ничего не случится, если малость потеснитесь.

Он уже облачился в морской китель, на брови надвинул фуражку с «крабом». Едва мы пришвартовались, он пружинисто прыгнул на деревянный причал, крикнув:

— Георгиевич, старшим остаешься.

— Катись, катись колбаской, — негромко отозвался чиф.

Меня давно удивляло, почему на «Синегорске» капитанит человек, так и не сконтачивший с командой. Второй механик, тот что палил в дельфинов из дробовика, однажды уронил:

— Кэп у нас какой-то... Вроде одессит, должен с морем и с пар-

ниями «вась-вась» быть, а он ни рыба ни мясо. Почему он еще капитанит?

— А что? — поинтересовались мы.

— Он же раньше старпомом на спасателе был. Ну, вот раз, не знаю за что, съездил матросу по физиономии. Ему человека обидеть, что за борт помочиться. Матрос, не будь дураком, намял ему. Вроде выгнать должны были одессита, нет, сошло: матроса списали на берег, а этого в капитаны произвели. Своя рука, видать, у него в управлении.

С таким прошлым трудно, конечно, завоевать авторитет у матросов. Ну, да дьявол с ним, с кэпом. Мы пошли в поселок.

Об архитектуре Малокурильска я уже говорил. Ничего архитектура, правда, без разных там рококо, но зато от землетрясения дома не рассыпаются.

Когда мы с Женей входили в поселок, нас догнал Васька.

— В магазин сходим, — сказал Дроздов. Только это турне оказалось напрасным. Еще в дверях мы спросили, есть ли водка. Отвечавший хмыкнул и посмотрел на нас, как на лунатиков.

— А вам, может быть, бенедиктия или бренди?.. Духи, и то все расхватали.

— В таких местах делают бизнес, — сказал Женя по пути в аптеку, где мы намеревались достать спирту. Ну, хоть бы немножко, по грамматке каждому. Горлышко промочить. Не для пьянства, для веселья.

У аптеки толпились рыбаки. Васька пробовал протиснуться к двери, но его оттерли. Как он ни ругался, а к дверям не пролез.

— Плакал спирт, — сказал он и еще раз изругался. — Хоть бы шкалик где на троих раздобыть. Надо же: сухой закон на острове!

Наконец, решили просто зайти к любому островитянину и на коленях выпросить чего-нибудь «такого». В первом же дворе нас облаяла сначала дворняга, потом хозяйка. Мы ей втолковывали, что не для пьянки нужен спирт, товарищ на судне больной лежит, вот ему для компрессов и требуется спиртешко. Хозяйка нехорошо усмехнулась и покачала головой.

— Нету.

Когда мы проходили мимо окна, оно распахнулось.

— Сколько? — спросил хозяин, — Вы на нее внимания не обращайте. Идейная она у меня. — И воровато оглянулся в глубь комнаты.

— Ну, сколько? — не веря своим ушам, переспросили мы хором. — А что у тебя?

— Спирт.

— Давай литр.

— Ошалели, — отпрянул мужик от окна. — А мне что, шиш останется? Пока дождусь, когда привезут с материка!

Мужик был битый, набивал цену.

— Литр за червонец — и гудбай.

— Тогда отчаливайте, — елейно улыбнулся этот Плюшкин. — Я за литр меньше тридцати не беру.

— Мироед ты, — заблестел глазами Васька, — не дашь за десятку, отберем так.

— Попробуйте, — не отходя от окошка, мужик протянул руку и снял со стены дробовик.

— Слушай, папаша, — сказали мы с Женей, — ты нас не дразни. Мы даже лютые, и твоя хлопушка только разожжет страсти. Давай так: ты нам — спирт, мы тебе — двадцать рублей.

— Отчаливайте, — хмуро сказал мужик. — Меньше тридцати не возьму. Чего рядитесь-то, срамцы! Рыбаками еще зветесь.

В общем выжал из нас тридцатку.

— Я же говорил, что здесь только бизнес делать, — напомнил Женя, когда мы расположились у ручья, чистого и студеного. Из него мы запивали спирт. Остаток в бутылке заткнули тряпкой, чтоб не выдыхался.

Васька, откинувшись спиной на ствол сосны, разоткровенничался:

— Братцы, за тысячу километров отсюда, за Японским морем, разбежался по сопкам Владивосток. Город самый обыкновенный, только и отличие от других, что у моря стоит. Но в этом городе, братцы, семья моя живет. Пацан с девчонкой и жена. Я ее, ребята, признаюсь, люблю здорово. Без ума, наверно. И не знаю почему, но так люблю, что никто другой так свою жену не любит. Вы, ребята, не обижайтесь, но вы еще сосунки и не знаете, что это такое — жена. То, что у вас с девками было, это все лабуда. Или взять пацанов моих. Вот приду домой и, наверно, заплачу. Они у меня на ногах повиснут и запишат: «Папка, папка...» Э-эх, — почти всхлипнул Васька. — Не понять вам. Десятый месяц детей не вижу. Разве вам понять, салаги?

— Нет, почему же! — промямлил Женя. — Мы понимаем.

Его развезло, и он начал толковать про стихи и Аксенова с Ремарком.

Все это было довольно комично, хотя и естественно. Три истосковавшихся по земле рыбака сидели на ней у ручья и говорили о чем попало. Сопки давно пожелтели. И японская сосна, и бамбук стояли совершенно голые и дрожали, как дети, зябко и беспомощно. Над белой шапкой Тяти клубился белый туманный нимб. Суда, прижавшиеся к причалу, чуть покачивались, над некоторыми курились дымки: камбузные деятели готовили своим командам столовые сюрпризы. И казалось, будто я всю жизнь скитался по этим железным морским работягам и не было у меня позади школы, фабрики, родных и милой девчонки Тани, которую я поцеловал в первый раз. Сейчас она, наверно, уже обучилась этому немудрому ремеслу — целоваться, а тогда вырвалась и убежала. А я, счастливый десятиклассник, мгновение назад прикоснувшийся губами к большой тайне, от которой так оберегали нас педагоги, я, впервые переступивший порог запретного, стоял с запрокинутым к звездам лицом и улыбался. Кипела вокруг жизнь: здесь, на Курилах, толклись в бухте озябшие траулеры и сейнеры, Тятя сдвигал набекрень снежную шапку, где-то кончали самоубийством и бомбили города, и надрывалась в эфире морзянка, которую выбивал радист торпедированного корабля, ученые щурились на Марс, политики лили на фраки друг другу елей и деготь, а я стоял в самом центре Земли, запрокинув голову к Галактикам, и тихо счастливо смеялся...

Мы шли по Малокурильску, и нас порядком мотало. На нас с завистью поглядывала толпа рыбаков у магазина, в котором даже духов и одеколona не осталось на прилавке. Нам оставалось до причала метров пятьсот, когда мощный репродуктор разнес по поселку тревогу:

— Капитанам судов в течение десяти минут вывести суда из бухты. Ожидается приливная волна в восемь метров, образовавшаяся в результате землетрясения в океане недалеко от острова.

Нас будто хлестнули. Мы видели, как засуетились сразу все суда, торопливо отдавая концы и направляясь к выходу из бухты. Малокурильск напоминал картину воздушной тревоги. Толпа у магазина мгновенно растаяла: все рыбаки устремились к причалу. Когда мы бежали по его деревянному настилу, на «Синегорске» убрали швартовы. Чиф грозил нам кулаком. Однако траулер не сдвинулся с места, когда мы оказались на палубе.

— Кэп, черт!.. Где же он?

В горловине бухты, у выхода в океан, царапая борта, сталкивались суда: все спешили удрать из западни. А наш «Синегорск» одиноко покачивался у причала, наблюдая эту сумятицу, и словно раздумывал, стоит ли следовать примеру своих собратьев. Перед приливной волной начался отлив, а кэпа все не было. На палубу, торжественно неся огромный живот, вышел стармех.

— Ну, в чем дело?

— Кэпа нет, — ответил чиф и в глазах его читалось дикое желание послать все к черту.

Маленький сейнер по другую сторону причала, не успевший смотаться вовремя, медленно начинал клониться на бок. Отступавшая вода обнажала илистое, забросанное всяким хламом дно бухты. Отлив проходил быстро: еще минута — и мы сядем, как этот сейнер. Из воды уже показывались облепленные моллюсками борта затопленных шхун, от которых раньше на поверхности видны были одни мачты и рубки, а кэпа все не было.

— Полный вперед! — рявкнул чиф. «Синегорск» затрясся и прыгнул с места. Забурлила под форштевнем грязная, в нефтяных разводах вода.

Мы уходили из бухты последними. Когда траулер подошел к горловине, начался прилив. «Синегорск» едва двигался вперед, преодолевая встречную волну.

— Самый полный вперед!

В последний раз я взглянул назад. Сейнер лежал на боку, как раненый морж, к нему уже подкрадывалась волна, от которой наперегонки улепетывала команда судна.

Океан обдал нас холодным зимним дыханием. Прямо по курсу вырастал из воды хмурый Тятя — огромная серая громадина, на висках которой кучерявились облака. Потом пошел снег, крупный, какой выпадает только под рождество, и закрыл Тятю плотным занавесом. Быстро темнело. На «Синегорске» вспыхнули бортовые огни.

— Право руля!

Траулер развернулся на 90 градусов и пошел параллельно берегу. Я спустился в каюту.

Мы живем в ней втроем. Кроме Цыганка и меня, на нижнем ярусе спит Гришка Габдрахманов. По паспорту у него другое имя, татарское, трудно выговариваемое. Татарина выдают в его внешности только глаза, прищуренные, всегда настороженные. А лицо у него чисто европейское, тонкого и красивого рисунка. Гришка пошел на море за деньгами. Далеко отсюда, под Ярославлем, у него жена, сын и теща. Когда он получит деньги за всю путину, то уедет в свой Ярославль и купит дом. С огородом и палисадником. Он надоел нам своими мечтами о будущем хозяйстве. Когда он говорит об этом, я свешиваюсь с верхнего яруса, смотрю на его изящно выточенное лицо и не могу понять, почему весь круг его интересов ограничивается четырьмя стенами собственного дома. Ну, что он ему даст?

— Все свое будет, понимаешь? — растолковывает он. — За жилье не платишь — раз. Захотел малины или крыжовника — пожалуйста: на базар не идти. Молока? Подоил корову и пей.

— Так ведь вы, мусульмане, только кумыс пьете, — возражает Васька, всегда незаметно появляющийся в дверях. Он живет в смежной каюте со Славой и Женей, и когда они на вахте, от скуки приходит к нам почесать язык. — И свинину вам коран запрещает есть. А ты каждый день ее жрешь.

— Иди к черту, — говорит Гришка. — Я не мусульманин. А свинину все равно не ем.

— Каждый день лопаешь в обед!

— Я ее выбрасываю, понял?

— Но борщи-то на свином сале и мясе! — торжествует Васька. Габдрахманов соскакивает с койки.

— Пшел к черту! Что мне, с голоду подыхать? Раз ничего другого камдей не готовит!

— Зачем тогда на море шел? Тут ведь кумыса нет!

— Пшел!.. Здесь деньги есть.

— Смотри, Хоттабыч, купишь дом, я приеду и красного петуха пушу, — обещал Васька.

— Я тебя к себе не позову.

— Я сам приеду! Или незванный гость хуже татарина?

Гришка снова откидывается на подушку:

— Иди, иди отсюда...

Мне кажется, что если бы Гришка был с камдеем в таких отношениях, как боцман, он бы не вылавливал своего врага из-за борта. Может быть, еще даже тюкнул чем-нибудь потяжелее. У Гришки глаза больно уж хищные.

Когда я вошел в каюту, Цыганок спал. Гришка лежал на койке, заложив руки за голову и думал. Наверное, какой дом лучше купить: четырех- или пятистенный.

— Ну, как дом? — спросил я.

— Что дом?

— Купишь или строить будешь... на песке?

— Зачем строить? Купить дешевле. И не на песке. На песке палисадника не разведешь.

Потешный парень. Не понял шуток. Я забрался на верхнюю койку, позвал Ваську и Женю. Когда они поставили на стол бутылку с недопитым спиртом, Гришка хихикнул и спросил:

— Сабантуй делать будем?

— Кто будет, а кто и посмотрит, — отрезал Дроздов. — Тебе нельзя, коран запрещает.

— Не верю в коран, — поспешно заверил всех Гришка.

— Все равно. Нельзя осквернять веру предков. Да и вообще вредно пить.

— А ты почему пьешь?

— Нам Иисус Христос не запрещает, как вам аллах. Он у нас распят, руки прибиты. Сам пить не может, другим велит. Православный гуманизм.

Гришка поднимается с койки и сматывается.

— Эй, ты, — кричит ему вслед Женя, — мелкий собственник! Смотри не наушничай! А то дома своего не увидишь!

— Слезай, — говорит мне Васька и, разливая спирт, каламбурит:

Посредине океана
в непроглядной темноте
мы плывем без капитана
на железном Сэ-Ри-Тэ.

Сразу после спирта делаю несколько глотков воды. Потом перевожу дыхание, чувствуя, как жжет в глотке. Парни, сощурившись, с любопытством наблюдают за мной. Через минуту знакомое тепло приятно расходится по телу.

— Эх, — выдохнул Васька, — за помин его души! — и опрокинул стакан в рот.

Хорошо. Шипит на стекле иллюминатора соленая пена, глухо ропщет за бортом волна. Что-то поделывает сейчас в Малокурильске наш незабвенный кэп?

— Был бы у нас дельный кэп, — говорит Васька, — хотя бы Георгиевич, давно бы мы план взяли, и уже были бы во Владике. Везет же другим траулерам: у них кепы как люди, а у нас — пацан какой-то, немысленный и вдобавок тупой, как шпала. А гонору — на десяток хватит. «Дрзду» знаете?

Видел я «Дрзду» на Шикотане. Траулер меньше нашего, а уловы берет — только ахнешь.

— У них капитан — человек. Во-первых, рыболов матерый уже, во-вторых, сам все умеет делать. Он ребят учит и на руле стоять, и на прожекторе, а когда заметы делают, он на палубе вместе со всеми, а не на мостике, как наш сопляк. И тралмастер у него на судне — второй хозяин, а во время лова — первый. Уйду я с «Синегорска». В следующую путину на «Дрзду» буду стараться попасть.

— Так она же не наша — возразил Женья. — Она из Камчатского управления.

— Ну и что?

Пришел боцман. Выпил, не запивая водой, зарычал, отер кулаками выступившие слезы.

— Язви его!..

Посидел молча, слушая Ваську. Только сейчас, когда он сидел рядом и без кепки, я заметил у него седину.

— Я тоже с «Синегорска» уйду, — глухо обронил боцман. — Не могу здесь. Или совсем уйду с моря. Сколько можно кочевничать? Куплю халупу, огород разведу, буду капусту выращивать.

— Как Гришка?

— А что! Кто мне запретит?

— Никуда ты не уйдешь, — сказал Васька. — Засосало тебя море. Как и Георгиевича, и Славку, и меня...

— Да, — рассеянно согласился боцман. — Без моря уже не могу. Это ты верно говоришь.

— Это ты от беды уйти хочешь, — сказал Васька, — от камдея.

— А что камдей? Так ли уж виноват он? — устало спросил боцман. — Если б она человеком была, она б сама никогда на такое не пошла... Выгнала бы, ударила... а она...

— Это правда, — согласился Дроздов. — Главное — человека в себе всегда надо чувствовать. Чуть сдал — и крышка. Пошел на дно.

Васька говорил то, что я всегда думал. В какой бы переплет ни впутала нас жизнь, человек всегда поступит, как человек, а гад останется гадом. Тут уж против не попрешь.

В каюте стояло густое папиросное облако.

— Пойдем, просвежимся, — потянул меня Женья.

Я поднимался по трапу вслед за великаном. Его ноги были на уровне моего носа, я смотрел на них и думал о разговоре в каюте. Это уж так повелось, что люди за бутылкой всегда откровенны, всех их тянет на большой разговор, к широким обобщениям. Винить их в этом глупо. Как глупо винить камдея в том, что он «совратил» жену боцмана. Если бы она была человеком, все было бы «тип-топ».

Шел снег.

Тихо и мерно вздымалась грудь океана. Пенилась под форштевнем волна, слабо брызгая в нас соленым дождем. Крупные снежинки таяли,

казалось, не достигая воды. Было прохладно и хорошо. Где-то справа лежал внизу Шикотан.

— Неужели с нами повторится то же, что с этими парнями? — спросил Женья. — Тоже будем уходить в плавание, а на берегу нас будут ждать такие сюрпризы, как вот у боцмана?

Не знаю. Очень даже может быть. Главное, не убить в себе человека. Тогда — труба.

...Снег тихо падает на наши непокрытые головы.

...Идем в Находку. Мы должны были еще неделю ловить сайру, но тут зарядили штормы один за другим. В такую погоду улова не жди: шторм раскидает косяки, и сколько бы мы ни цедили океан, толку не будет.

Мы идем домой Сангарским проливом. По обе стороны от бортов «Синегорска» — Япония. Наверно, нас сейчас рассматривают в бинокли вон из того городка, что лежит на северном побережье Хонсю. Пусть смотрят. Над кормой траулера чужой ветер яростно рвет красный флаг.

Позавчера мы послали на «Никишин» радиограну. Короткий текст и двадцать фамилий. Теперь кэпом у нас Георгиевич.

Когда на следующий день после кутерьмы в Малокурильской бухте мы подошли к «Никишину», к нам направился мотобот. На палубе его стоял кэп в морском кителе и фуражке с «крабом». А на вахте как раз стояли третий штурман и Женья Босак. И — надо же! — Женья положил судно «право на борт».

— Ты что! — не понял третий штурман.

— Пусть в Одессе капитанит, а нам такие не ко двору.

Конечно, третий штурман мог командовать в машинное отделение: «Стоп, машина!». Переговорная труба всегда перед носом вахтенного штурмана. Так вот, третий к ней нагнулся и спокойно так говорит:

— Полный вперед!

Мотобот уже метрах в пятнадцати от нас был. Когда мы показали ему корму, на нем начали кричать, ругаться:

— В пятнашки, что ли, с вами играем?

А третий вышел на боковой мостик и в рупор крикнул:

— У нас все дома.

Оплеванный кэп стоял на палубе мотобота, как изваяние. Потом мотобот развернулся и затарахтел обратно к «Никишину». Третий объявил тревогу и, когда мы собрались, стармех сказал:

— Радиограну пошлем на «Никишин». Пусть Георгиевич капитанит.

Так, на демократических началах, чиф стал капитаном. Правда, победа эта временная. С флагмана в тот же день пришла ответная радиограну. Прямо петиция какая-то. Чиф собрал нас в кают-компанию и знакомил с ней. Мы страшно зашумели, хотя большой причины для этого не было. В петиции капитан-директор заявлял, что за самоуправство кое-кому перепадет, что в управлении Крабофлота переполох и кое-кто оттуда стоит за то, чтобы вернуть кэпа на «Синегорск» против нашей воли. Мы чувствовали себя очаковцами, попрание воли масс воспринимали болезненно, и потому собрание напоминало горластое вече.

— Ладно, — сказал чиф. — Пока нас спасает то, что путина кончилась. Идем домой. В Крабофлоте будет совещание на высшем уровне. Оставят одессита кэпом или нет, там решится. А пока командовать парадом приказано мне.

Кустики с висков зализал на лысину и добавил:

— А сейчас свободные прения.

...Все-таки мы не пешки, черт возьми!

Японское море мы пересекли за двое суток. Перед самой Находкой чуть приштормило, и «Синегорск» вошел в бухту в ледяном панцире. В бухте было тихо и как будто тепло даже. Но это нам только показалось, конечно. На крутых, в сопках, берегах лежал снег. Поверхность бухты была чистая, ровная. Странно было видеть после океана эту обетованную гавань, где даже мертвой зыби не было.

В Находке мы долго не могли найти место для стоянки. Только приткнемся в одном месте, уже кричат:

— Эй, кочевники, занято здесь!

И «Синегорск» как неприкаянный колесил по бухте. Наконец, чиф сказал:

— Здесь остановимся.

Мы пришвартовались в каком-то тупичке бухты. Все, у кого здесь был дом или знакомые, сразу поудирали с траулера. Даже Гришка, у которого здесь никого не было, спрыгнул на берег.

— А ты что, место для дома пошел высматривать?

— Иди к черту!

Чиф оставил вахтить третьего штурмана и меня: «У вас ведь здесь никого нет». И удрал с траулера первым. У него семья здесь, в Находке. Жена и сын, который «скоро будет» с меня. Чудак чиф. Когда за нашу вахту расписывался, вздохнул и против графы «капитан» поставил замысловатую закорюку. Как будто на арабском языке расписался. Потом фуражку снял и зализал на лысину кустики с висков.

— Отрыбалили, значит. Конец путине.

Мне возвращение представлялось несколько иным. С оркестром и цветами. И море улыбок на пирсе. Но нас встретило море молчания, которое мы приняли, как должное.

Третий штурман, совсем еще пацан, курил и изредка сплевывал с мостика вниз, за борт.

— Скукота, — сказал он после продолжительного молчания. — И радист удрал, хоть бы музыку послушали. Ты что молчишь?

А что мне было говорить? Кончилась путина. Позавчера письмо от Тольки получил. Пишет, что останется еще на одну путину. Вместе с Ивочкой. Расходятся наши пути. Как только «Синегорск» станет на ремонт, я попрошу расчет и уеду в большой сибирский город к мамане. Она сейчас там одна живет. Ждет-не дожидается своего последнего чада. В каждом письме жалобы на здоровье и слезы. Пишет, что забываем мы ее. Старший сын в Днепропетровске обзавелся семьей, получил квартиру в центре, обставил ее современной утварью и уже на моторную лодку замахнулся. Живет бюргером, а мамане ни рубля не посылает. Память куриная, забыл, как она с нами в войну мучилась. Дочь старшая в другом городе живет. У нее тоже семья. А последний сын вообще у черта на куличках, за экзотикой погнался.

Представляется мне маманя сидящей у печи на низеньком табурете. Огонь в печке гаснет, а мама сидит с опущенной головой, и слезы кап-кап-кап на мое письмо. И не замечает она, что печь стынет. Страшно мне видеть эту картину. Сначала без мужа, теперь без детей. И головные боли донимают. Мама, мама... Как она хотела, чтобы я учился. Приеду, учиться буду.

— А у тебя девчонка есть? — зевнул третий штурман. Он выпустил струю дыма и смотрел на меня с улыбкой.

— В каком смысле?

— Ну, любимая, что ли.

Нет, не было у меня любимой. Так, суррогат один был. А такой, как у Васьки, любви не было. Когда-нибудь будет. Какая? Только бы не как у боцмана. Кстати, он сегодня на берег вместе с камдеем сошел. Хмурые оба. Пошли в один дом. Один к жене, другой к сыну. Боже мой, как все банально и противно! Этот вечный треугольник интимных отношений: женщина и двое мужчин. Или наоборот. Сколько раз будет повторяться это еще? Не придется ли мне быть одной из сторон этой геометрической фигуры?

— Тебе сколько лет?

— Двадцать два стукнуло.

— А образование какое?

— Среднее.

— Ты, если дальше хочешь учиться — уходи с моря. Иначе засосет.

— Как засосет?

— Ну, привыкнешь. Понимаешь, как будто шестое чувство у тебя появится. Вот я пятый год плаваю. В конце каждой путины говорю: шабаш, больше в море не пойду, учиться надо дальше. Два месяца на берегу погуляю и больше не могу: в море тянет. Карусель какая-то. В море по земле тоскуем, на суше — по морю.

Он выбросил папиросу в окошко, проследил, как она ткнулась в воду.

— Скукота. Я покимарю пойду, толкнешь, если что.

Третий спустился в каюту.

Я запахнулся в тулуп, вышел на палубу, и лег на обледенелый трюм. В бухте было спокойно, только изредка доносились издали тархтеные моторки и гудки судов. Крупные звезды холодно взирали на меня сверху. Легкий бриз охлаждал кончик носа.

Вот и кончилась моя одиссея. Так же, как кончилась три месяца назад служба. Зачем я пошел на море? Подзаработать? Хлебнуть морской жизни? Неважно, зачем именно. Три месяца промелькнули одним днем. Что я получил от всего этого? Не знаю. Когда-нибудь скажется. Осталось же что-то во мне от встречи с морем, с его тружениками. Когда-нибудь я вспомню эту последнюю вахту и, наверное, посмеюсь над своими обобщениями. А сейчас мне не смешно. Тоскливо очень, сам не знаю отчего. Странно все как-то. Три дня назад мы удирали с Малокурильска от приливной волны. Пили там спирт, и Васька говорил что-то о своей семье: о пацане и девчонке. Куда он ушел? Опять, наверно, за спиртом. Женя с Цыганком пошли в «мореходку», навестить друзей. А мне некуда идти. Никто в этом приморском городке не ждет меня с нетерпением у накрытого стола. Как никто не махал нам с Толькой, когда «Каменец-Подольский» увозил нас на Курилы. Толька счастливчик. На будущий год он уйдет в путину, а Ивочка будет ждать его на берегу, слушать по радио сообщения с краболовной флотилии «Евгений Никишин», ходить к причалу, и долго стоять на пирсе, и смотреть на залив, и тревожиться, если долго не будет писем от ее грубого кумира, которого она уже ставит под каблук. Ну, что ж, каждому свое. Грустно только, что никто не крикнул мне с берега: «Валерка!» и не ткнулся в небритую щеку влажными жаркими губами. Ах, черт, так и разревется недолго. Пойду на мостик, включу свет и еще раз прочитаю Толькино письмо.

«...Мы сейчас идем к Магаданскому заливу. Ненадолго: на месяц. Там, говорят, нас селедка ждет. Так что через месяц мы встретимся. У

нас тут ваш кэп околачивался целую неделю. Одет гусаром. Круглые дни стоял на носу «Никишина» в позе Наполеона. Я однажды забрел туда, слышу он смеется. Да жутко как-то. Прохожу мимо, гляжу, фуражка на самый нос напялена, а из-под козырька слезы, что ли катятся. И смеется как-то не поймешь. Он у вас неврастеник, да? Что у вас там случилось? Вчера с материка рефрижератор пришел, забрал продукцию и вашего кэпа. Крошка говорит, что это замечательный тип людей, которых днем с огнем нелегко найти. Трудно не согласиться.

Слушай, ты напиши стихи о моей крошке. Ты же видел ее. Что-нибудь вроде:

«Я помню чудное мгновенье —
Передо мной явилась ты...»

Я твоё стихотворение вставляю в рамку и буду молиться на него каждое утро.

Мы с крошкой решили, что я еще раз схожу в путину. Надо вот только крышу для нее во Владике найти. Чтобы она сидела у окна, как Ярославна, и смотрела на море. Меня, значит, ждала. Ну, и по секрету: когда я вернусь со следующей путины, меня будет ждать маленький живой сюрприз. Это мне крошка на днях призналась.

А ты как, Валерка? В путину, конечно, пойдем вместе? И опять на «Никишине»? Это ведь самая комфортабельная посудина в Крабофлоте. Не знаю, что тебя понесло на траулер. Крошкины подруги у меня все спрашивают: куда твой друг делся? А я им отвечаю...»

Нет, Толя, мы уже с тобой не пойдем в следующую путину. Слишком быстро несется время. Для тебя в жизни все ясно и просто, а для меня жизнь — дебри. Сколько раз придется мне идти обходным путем, а иногда и возвращаться на старую тропу, чтобы пробиться к свету, к ясному пониманию того, что происходит в нас и вокруг нас. Не знаю. Может быть, мне ста лет не хватит, чтобы продрасть через эти дебри. А пройти надо...

...После завтрака мы с Женей пошли в город. Всем выдали небольшой аванс, и Женя повел меня знакомить с Находкой.

— Слушай, — сказал он уже в городе. — Пошли к чифу? Скажем, погреться пришли, ну и бутылку возьмем для разговора. Он мужик — золото. Погутаим, то... се...

Мы пошли к Георгиевичу. По пути взяли две «московских» и закусь кое-что. Старпом жил в противоположном конце города. И добираться до него надо было автобусом. В автобусе три шкета лет по семнадцати посмотрели на нас, потом переглянулись меж собой.

— С рыбалки? — спросил один, с расплюснутым носом боксера.

— С рыбалки.

— Как уловчики?

— Ничего уловчики, — ответил Женя. — Такие тебе и не снились.

— Ну, а заработки как?

— На уровне. Всю Находку можем спить. Видишь, карманы от купюр оттопыриваются. — Женя хлопнул себя по карману пальто, где была бутылка.

Шкеты еще раз переглянулись. Когда мы вышли из автобуса, они тоже спрыгнули и пошли за нами, насвистывая.

— Шпана, — улыбнулся Женя, — в каждом порту ее полно. Ты на всякий случай держи руку на бутылке: чтобы во время...

Мы огибали в эту минуту дом, шкеты нас обогнали и остановились.

— Понял?.. — спросил Женя.

Эти молокососы были настоящими шкетами. Одеты они были, правда, неплохо, но такие заморыши, что просто смех брал, если они задумывали сделать с нами что-нибудь серьезное.

Мы поравнялись с ними, и тот, с боксерским носом, медленно стал переходить нам дорогу.

— Привет, — сказал он.

Женя протянул свою метровую ручищу и легонько ткнул шкета в грудь, убирая с дороги. Тот схватил его руку и отбросил.

— Разговор ведь есть, — сказал он, и те двое тоже подошли и стали у него с боков.

У меня начало нервно пульсировать веко. Тут было не до смеха. Шкеты держали руки в карманах, где, очевидно, было какое-то оружие.

— Разговор ведь есть, — повторил главарь.

— Ну? — спросил Женя.

— Насчет денег. Все не требуем, а так, мирно, поделитесь. Заботу о ближних проявите.

Он улыбался и играл чем-то в кармане.

— Сколько? — спросил Женя, тоже улыбаясь.

— Ну, на ресторан, хотя бы.

— То есть?

— Куска полтора.

— То есть?

— Что «то есть»? — обозлился главарь.

— Точнее: сколько?

— Полтора рупий, — бросил шкет. — И без комедии, а то щекотать будем.

Мы кинулись на них одновременно. Они выхватили из карманов финки, но поздно. Меня уже давно била нервная дрожь, движения были подсознательными и молниеносными. Шкет еще только вытянул руку из кармана и не успел изготовить ее для размаха, когда бутылка раскололась на его кепи. У него глаза дико расширились от ужаса, он захлебнулся водкой, залившей лицо, и был в состоянии шока. Я ударил его по ногам, и он рухнул на асфальт. Женя, кажется, просто схватил главаря огромной пятерней за морду и толкнул, как ядро. Тот задохнулся, когда клешня великана сжала скулы, нож отлетел в сторону, и главарь метров семь кувыркался, как пережаренное сало. Третий, не успевший вступить в драку, пулей метнулся за угол дома. Мы подобрали ножи и быстро пошли от дома. С минуты на минуту могла подоспеть милиция, Женя сказал: «Бегом!» — и мы рысью бежали квартала два. Когда остановились, я протянул ему руки, и мы оба расхохотались. В одной руке была финка, во второй — горлышко бутылки.

— Ну, шпана, — сказал Женя. — Одни расходы из-за них. Придется еще одну брать.

У чифа был собственный дом, целый дворец, а не дом. В прихожую нам навстречу выехал на машине пацаненок лет пяти. Я догадался, что это и есть сын старпома, который «скоро будет» с меня.

— А мне папка машину купил, — сказал он и слизнул языком прозрачную струйку, вытекающую из носа, — вас подвезти?

— Ничего, мы сами тебя подвезем, — засмеялся Женя, взял пацана с машиной под мышку, и мы пошли в комнату. Из кухни сюда же вышла маленькая женщина. Она была застенчива, будто сама была гостей, а не мы.

— А Георгиевич дома? — спросил я.

— Он в магазин пошел. А вы раздевайтесь, ребята. Вы, наверно, с одного судна? Вот вас зовут Женей, — сказала она.

Великан страшно сконфузился. Покраснел и спросил глупо:

— А вы как меня знаете?

— Саша говорил, что вы на судне самый высокий. Говорит, выйдите на палубу покурить, и о клотик облакачиваетесь.

Мы все засмеялись, а пацан спросил:

— А ты до потолка достанешь?

«Какая милая семья», — подумалось мне с грустью. Чифу уже никуда не надо ехать. Он дома. Будет вечером попивать кофе и подбрасывать к потолку свое сопливое чадо. То есть месяца два-три наслаждаться семейной идиллией. А мне еще сколько мотаться по свету!

Скоро явился Георгиевич.

— Рыбой пахнет, — сказал он в прихожей жене. Потом вошел, увидел нас и по привычке не поздоровался.

— Хо-хо! — воскликнул он. — Какими ветрами?

Мы его не сразу узнали. Он был в полном морском облачении, до синевы выбрит и пах как-то подозрительно. Неужели духами?

— Да, вот, — сказали мы, — пришли визит нанести и заодно проводы устроить.

— Какие проводы?

— Валера уезжает, — кивнул Женя.

Чиф нахмурился.

— Почему же уходишь? — спросил он за столом. Пацан карабкался ему на колени. Чиф отстранил его.

— Подожди, сынок.

— Учиться надо, — ответил я, ковыряясь в закуске. — Ну, что будет, если я здесь останусь. Сопьюсь и одурачусь совсем.

Чиф промолчал.

— Ну, если учиться, то конечно. А насчет «спиться» — это ты хреновину городишь. По-твоему, все рыбаки — алкаши?

— Да нет, почему...

Жена принесла с кухни карасей, и чиф обратился к ней:

— Дина, скажи, я алкоголик?

— Да нет... пока. Разве за тобой уследишь, где и сколько ты пьешь?

— Я меру знаю, — обиделся чиф.

А вообще-то он пил заправски. Разинет рот и — оп! — в один глоток стакан опрокидывает. Еще до армии я пробовал так тренироваться на воде. Чуть не захлебнулся. Вода вместо пищевода попадала в легкие и бронхи.

— Раньше я пил, — похвастался Георгиевич, — как верблюд. Бутылку выпью — мало, еще бутылку — все равно трезвый. Бутылок пять заглочу за день, потом неделю пьяный хожу. Если б не Дина, пропал бы.

— У тебя невеста есть? — спросил он.

— Нет.

— Ну, а куда едешь? К родителям?

— К матери.

— А отец где?

— В сорок первом... — сказал я.

— На войне?

Я промолчал. Набил рот, чем попало, и кивнул, не глядя ему в глаза.

— Он где воевал?

Я пожал плечами: не знаю.

— А я здесь, на Дальнем Востоке, — оживился чиф. Пацан залез к нему на колени и смотрел в рот. — Сколько здесь наших полегло —

ужас! Помню, Сахалин брали: и японцы, и мы — злые, как черти. Только мы злее были, ну и поперли их.

Георгиевич долго рассказывал о том, как гнали они японцев до самого Хоккайдо. И мы, два желторотых юнца с 1941 и 1943 года рождения, сейчас будто снова открывали для себя чифа. Ему тогда было 18 лет, и у меня в помутневшем мозгу не укладывалось, как мог несовершеннолетний мальчишка пройти через минные поля и проволочные рогатки японцев. А сейчас он так обыденно, будто всю жизнь только этим занимался, елозил вилкой среди тарелок с закуской и вытирал нос своему отпрыску.

— Ты медали им покажи, папка, — посоветовал сын, и чиф принес в двух картонных коробках медали. Две медали за победу над двумя хищниками из треугольника Берлин — Рим — Токио. Это чиф сам так сказал. Он весь сиял торжеством, наш чиф, от неприкрытой лысины до ямки на выбритом до глянца подбородке.

— Вот с тех пор я и прилип к морю, — рассказывал он. — Восемнадцать лет плаваю и ничего: как видишь, не спился. А ты еще вернешься на море, — вдруг сказал он. — Выучишься или нет, а вернешься на море. Оно такое: кто с ним встретился, так уж не расстанется. Хоть через десять лет, а вернется. Оно, как болезнь хроническая.

Женя Босак подтвердил, что так оно и есть. Он уезжал домой прошлым летом, после училища, мамаша его отзывала от моря. Покрутился там с месяц, потом плюнул на все и рванул обратно, на Тихий океан. Присох к морю, как он выразился.

Когда все добро было выпито, чиф стал тайком от жены подмигивать нам. Мы делали вид, что не замечаем, и его это расстроило.

— Кхе-кхе, — сказал он, — у меня что-то с горлышком неважно, Дина. Мы с ребятами еще одну возьмем?

— Да? — переспросила жена, и металлический отблеск ее глаз полоснул по чифовской плéши. — Спать ложись.

— Ну ладно, ладно — обиделся он. — Что я тебе, Борька, что ли? Капитана в глазах команды позоришь.

Мы попрощались с милым семейством.

Солнечный полдень ослепил нас. Народу на улицах было немного. Мы шли по Находке слегка враскачку. Не от выпитой водки, а чтобы встречные видели, кто мы такие. Не какие-нибудь дешевки, рисующие себя морскими волками, а настоящие рыбаки. Водка почти не подействовала на нас: закуска у чифа была отменная. Женя жестикулировал конечностями, читал стихи про кулагу, ругал Аксенова и Ремарка.

— Думают, лучше их никто не напишет! Мы напишем!

Ровное плато бухты лежало перед нами. Маленький сейнер, усердно пачкая белесое небо дымом, перерезал бухту надвое.

— Хочешь прозу?

— Чью? — спросил Женя.

— Федора Буданова.

— А кто это? Не читал его.

— Это мой отец.

Конечно, его никто не читал. Потому что он не писал эпопей и романов в стихах. Но каждое его письмо домой было сильнее эпопей и трилогий.

«...Как вы там без меня, Шура? Сыну уже полгода, а я о нем ничего не знаю. Как ты его назвала? Какой он? На кого похож? Надеюсь, недоразумение скоро выяснится, я написал Михаилу Ивановичу, и меня должны освободить...»

Сейчас мы стоим на берегу бухты Находка. Завтра нас повезут на Колыму».

Отца не отправили на Колыму: он был сердечник. Он умер от разрыва сердца. Он так и не узнал, какое имя дала мне мать. Я никогда не видел отца, и когда при мне моих друзей ласкали отцы, я смотрел на них, как обделенный чем-то. Я еще не понимал тогда — чем. Мой отец погиб на войне, так сказала мне мать. Когда мне было лет десять, я спросил:

— Мама, а от папки медали остались?..

Лет семнадцати я случайно попал на отцовские письма на дне старого деревенского сундука. Там же лежал маленький желтый листок, извещавший о смерти отца в городе Свободном. Сто раз я видел этот город на карте. До отцовских писем он представлялся мне зеленым красивым городом...

Мать мне часто говорила, что я похож на отца. Я ставил его портрет рядом с зеркалом, смотрел в него и сравнивал. Мне так хотелось походить на отца! Но с фотокарточки на меня глядел красивый строгий мужчина в вышитой косоворотке, а из зеркала выглядывал курносый прищуренный мальчишка. Я расширял глаза, раздирал веки пальцами, чтобы у меня были такие же огромные строгие глаза. Я не был похож на отца, который не видел меня даже на фотокарточке. Мой отец был простым бухгалтером, остроумным человеком и актером. Остроумие погубило его. Его место за бухгалтерским столом занял человек, по чьей вине я ни разу в жизни не произнес слово «папа».

...Мой отец был пастухом, бухгалтером и актером. Кем буду я?

...В отделе кадров управления Крабофлота тетка-медуза взяла документы и мое заявление на расчет и посмотрела на меня снизу рыбьим взглядом.

— Надоело плавать?

— Нет.

— Почему же рассчитываешься?

— Учиться еду.

— А-а, — сказала медуза. — Николай Васильевич, надо парню к завтраму расчет оформить.

Николай Васильевич покаябал мизинцем плешь и зевнул:

— Маята одна. Уходят — приходят. Незачем было устраиваться на три месяца.

— Это мое дело.

— Знаю, что твое. Не понравилось, что ли, на море?

— Я же говорю: учиться хочу. А на путине разве можно учиться? Круглые сутки работа.

— Это так. Зато и деньги большие заработал. А больше ты нигде таких мест не найдешь.

— А я и не ищу. Всех женщин не перелюбишь, все деньги не загребешь.

Тетка-медуза посмотрела на меня и растеклась в улыбке. Полтора центнера рыхлой массы колыхнулись в беззвучном смехе, сдвинув с места массивный стол.

— Перелюбишь не перелюбишь, но... — сказала она, и глаза ее вдруг озорно блеснули, — к этому надо стремиться, молодой-интересный!

...Ну, медуза!

...Во Владивостоке почти не чувствовалось зимы. Накануне моего приезда был шторм, и город занесло снегом чуть не по маковку. А сейчас по асфальту крутых улиц змеились ручьи, прохожие были одеты по-весеннему: в легких пальто и плащах. У кинотеатра «Комсомолец» два подростка яростно колотили автомат «Газированная вода», пытаясь побоями выдоить из него стакан газировки. Увидев милиционера, отошли. Какая-то девчонка, совсем еще ребенок, вела под руку едва воровавшего языком парня. Он наваливался на нее плечом, и бедняжка едва-едва не падала. Омерзительно. В девятом классе я первый раз напился в стельку, с тех пор картина неразумного пьянства вызывает у меня тошноту. Перед универмагом старый еврей задумчиво жевал губами, перебирая на ладони мелочь. Два студента, потрясая папками, на ходу спорили о спортивных пределах, кричали на всю улицу:

— А Власов?

— Что Власов? Ну возьмет шестьсот, ну семьсот килограммов? Но ведь не возьмет же он несколько тонн в троеборье!

— Крайности! Зачем крайности?

— А Брумель?

— А что Брумель? Ну возьмет он три метра, ну четыре... Но не прыгнет же он на триста метров в высоту!

— Крайности, опять крайности!

Удивительно, все мы склонны к крайностям и широким обобщениям. Веяние времени, что ли?

Толкая одна другую плечами, впереди меня шли две девчонки:

— ...Тот высокий, глаза черные-черные... И спрашивает: «Можно вас проводить? Вы где живете?» Я говорю: «На Менжинского, двадцать...»

— Дура! Зачем обманула?

У памятника героям гражданской войны военный моряк прощался с девушкой. Оба чему-то тихо улыбались. Она положила левую руку ему на плечо, а правой играла на бушлате. Он все поглядывал на часы и тревожился. Наверное, увольнительная кончилась.

— Когда приедешь, записку положи под тот камень...

Он кивнул.

— А если я на практику уеду? А ты как раз приедешь?

Он ее успокаивал...

Терся о гранитный причал океанский красавец-пароход «Русь». Он чуть покачивался, как белый лебедь. Портовый кран опускал в его трюмы огромные ящики. Здесь, у самой воды, сочетание прибоя и лязга портовых механизмов создавало неповторимую музыку вечного труда.

Мотаются мотоботы,
как уголь, горит вода.
Работа! Работа!
Все прочее — лабуда!

Молодец Вознесенский! Хорошо написал. Это и есть идеологическая шлифовка людей — работа. Вознесенский, наверное, будет классиком. Женя Босак будет штурманом. Вознесенского засосала поэзия, Женю — море. Что засосет меня? Вокруг озорно, буйно бурлит жизнь. Где я? На стремнине? Или у берегов?

Несколько парней с «Руси», в одних тельниках, сбежали на причал, начали пинать мяч, закричали, заспорили. Один, черный, кучерявый, мастерски водил мяч, оставляя соперников на бобах.

— Пеле, Пеле! — орали оба его края, стоя в офсайде. — Дай пасик! Дай пасик!

Но двойник знаменитого виртуоза сам шел к воротам из двух кирпичей, в которых, как полосатая зебра, метался голкипер. «Пеле» и его обвел и, подбоченясь, остановился в воротах с мячом. Гол! Аплодисментов не было, судьи — тоже. Парни заспорили об офсайде.

Завтра я уезжаю отсюда. Получу деньги и — ауфвидерзейн! Но что-то гнетет меня. Точно так же, как когда мне предложили комсомольскую путевку на строительство Амурска, а я отказался. И потом меня вот так же что-то угнетало. В армию я уходил тоже не с восторгом, будто предчувствовал, что там мне придется туго. Теперь я ухожу с моря, оставляю траулер с именем города из голубой мечты и грубых ребят с сердцами-самородками. Никто меня ни в чем не обвиняет, но что-то неловко мне, как будто я сматываюсь от трудностей. Когда я перестану краснеть от оплеух самобичевания, черт возьми! Хочется делать все самостоятельно, но мучает какая-то подспудная мысль, будто поступаю не так. Когда я буду спокоен?

...За окном с грохотом мелькают вагоны встречного поезда. Прощай, Дальний Восток! Родина моя и мучительное вызревание сознания собственной неприкаянности. Место моего рождения и гибели отца. Прощай, море, «Синегорск» и друзья-матросы. Прощай, Женя Босак, я верю, ты будешь писать лучше Аксенова и Ремарка, может быть, даже лучше Хемингуэя, которого ты не читал и которого так же, как тебя, подарило миру море. Прощайте, мои честолюбивые мечты. Ау! — чей незрелый мозг терзаете вы сейчас? Я уезжаю из теплого Владика в снежную медвежью Сибирь навстречу неизвестности. Может быть, это опять шаг назад или в обход тех джунглей, сквозь которые я думаю выйти к свету...

Тетка-медуза улыбнулась, отдавая мне трудовую книжку:

— Ну, давай... Стремиться-то будешь?..

Я рассмеялся и кивнул.

Чиф и ребята, когда я попрощался с ними в Находке, сказали мне:

— Счастливого! Не забывай «Синегорск»! Не сойти нам с этого места — вернешься еще на море!

Очень даже может быть. Пути господни неисповедимы, говорила моя мать. Она стала верить в бога после смерти отца, а меня всегда называла антихристом. Я верю матери. Мои пути неисповедимы. Надо искать один. Свой. Стремиться, как говорила тетка из управления Крабофлота.

В тамбуре сосед по купе, инвалид, заложив пустой рукав кителя в карман, курил и смотрел на далекие сопки.

— Домой еду, — задумчиво обронил он, — на родину, в Пензу. Лет двадцать уже не был у стариков.

Посмотрел на мое выцветшее «хб» и сказал:

— Демобилизовался, значит. А меня двадцать лет назад демобилизовали. По чистой, — он похлопал по пустому рукаву кителя. — К родным едешь?

— Да.

— Женатый?

— Нет. Рано еще.

— Почему рано? Я в твои годы женился, даже раньше. Двадцати не было, уже окрутили старики. Вот еду к ним, и на жену свою первую, взгляну тоже.

— Разошлись, что ли?

Он усмехнулся горько и жалко.

— Когда пришел с фронта с пустым рукавом, она сказала: «Не буду жить с калекой». Ну, я и мотнул на Восток, чтобы выветрилось все.

— Выветрилось?

Он промолчал. Потом кивнул за окно:

— Где только люди не живут... В сопки затесались и живут.

Маленькая деревушка, зажата в распаде двух сопок, напоминала пасеку.

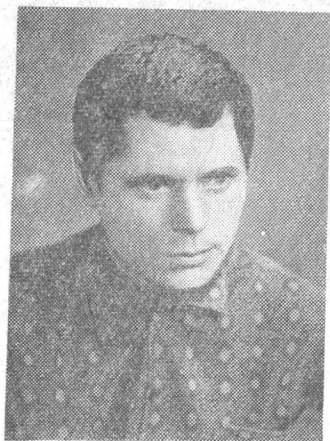
— И в больших городах живут. И бегут: одни в город, другие в деревню из города. Чего мечутся люди?

Не знаю, почему мы мечемся. Наверное, ищем счастье. А счастье ведь не вещь, его руками не схватишь. Вот и мотаются люди из деревни в город, из страны в страну, с материка на материк. А когда космос осияет, будут мотаться с планеты на планету, из одной Галактики в другую. Может быть, здесь только закон материи действует: в движении — жизнь?

Уже темнело за окном, а мы стояли и разговаривали. Не хотелось идти в вагон. Там только спать или в карты. Инвалиду одной рукой несподручно, а у меня партнера нет. Был партнер Толька, но сейчас он за тридевять земель, сельдь добывает. А другие люди уголь на-гора выдают. А третьи мучаются бессонницей и сидят у атомных циклотронов.

Летела, летела за поездом моя великая снежная страна. Пластались за окнами поля, горбатились сопки. Редко мелькали деревушки и города, где у каждого из людей была своя жизнь, какие-то заботы и стремления, которые отсюда, из полутемного тамбура, представлялись абстрактными и мелкими. Но это была жизнь, большая и сложная, в которой путались и расшибали лбы и старшие люди, и мои ровесники. Каждый искал себя.

Мчал по железному пути рычащий абстрактный паровозишка, увозя меня от экзотики к тому промежутку пути, на котором предстояло сделать еще один самостоятельный шаг.



О ЧЕЛОВЕКЕ

В. ЛИХАЧЕВУ

Жил человек, был.
 Ходил человек тайгой.
 Был человек из жил
 И бороды густой.
 Многое он любил,
 Много всего видал,
 Только не говорил, —
 Трубку курил, молчал.
 Отпуски редко брал.
 Брал, приезжал в Москву,
 Жил у него там брат
 На Кузнецком мосту.
 Брат был давно женат,
 Была у него семья.
 — Живи, — уговаривал брат,
 Оставлял у себя.
 А человек шутил
 Краешком губ:
 — Кому я здесь буду мил,
 Тем более — люб?
 И уезжал опять
 Камни свои искать.

В скалы бьет река,
 Воду пьет с ручейка
 С одного, другого...
 Пляшет в камнях голых
 И, устав, поплясав,
 Заползает в леса.
 Среди тех же скал
 Человек плясал,
 И тайге в оскал
 Вызов свой бросал.

ГЕННАДИЙ КРУГЛЯКОВ

ДОЖДЬ В КУЗБАССЕ

Дождь в Кузбассе,
 Гроза в Кузбассе,
 Очистительная гроза.
 Землю в спину она дубасит,
 Словно в чем-то земля грешна.
 Очищает и оmyвает
 Копоть, пыль, ядовитый дым
 И размеренно поливает
 По затоптанным мостовым.
 Надвигается синяя темень
 На картофельный огород,
 Представляю, что будет в Кемерове,
 Как там улица оживет.
 Сталевары Новокузнецка,
 Как вам правится проливной?
 Вот он прыгает у крылечек
 И бушует у проходной.
 Дождь в Кузбассе,
 Гроза в Кузбассе,
 Громыханье железных колес,
 И свисают с людей рубахи,
 Словно листья с мокрых берез.



* * *

Бородатый, худой,
 Утомлен ходьбой,
 Человек кричал,
 Человек плясал.
 На руках руда,
 Под ногой руда,
 И до той руды —
 Сквозь года труды.
 Среди диких скал
 Человек плясал.

МЕЧТАЕМ!

Мы
В наши трудные, дерзкие будни

На перекурах
в спецовках потных,
Мечтаем часто:
какою будет

Юность
В году две тысячи сотом...
Наверное, парни,
Здоровые, сильные,
Будут,

как Брумель,
Как Юрий Власов!
А девушки все

будут

очень

красивыми

И жить в городах
Из стекла и пластмассы!
Новых морей изумрудная пена
Будет лизать

полуночные пляжи...
Прокофьева будут любить

и Шопена

Страстно, как мы...
Нет, сильнее даже!
Не будет юность окопы рыть,
Забудет мир

сигналы тревоги...

Останется юным любить

и творить!

Вокзалы останутся и дороги!..
Помчатся фантасты —

Земли полпреды —
Путями далеких

тревожных орбит,

Чтоб где-то,
В туманности Андромеды,
Встречать нам грезившихся
Аэлит...

Мы в наши дерзкие,

трудные будни

У скудных костров,
у скупых мангалов

Мечтаем часто:
Каким же будет
Двадцать второго века

начало?..

Мечтаем!

Ничто нам не горбит спину.

Мечтаем!

И жить от того интересно,

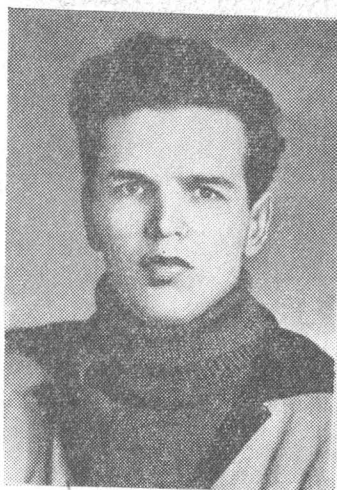
Что в жизни своей

Мы сплели воедино

И труд,

и мечты,

и песни!



* * *

Мальчишки жаждут
Стать скорей мужчинами.
Самостоятельность на ощупь
И на вес
Поиспытать, стать важными
и чинными...
Ходить, как папы,
На завод, на стройку, в трест.
А нам их прямоты,
бесцеремонности,

Беспечности
Порой так не хватает..
Руки так зудят:
Дать в морду ханжеству,
Под зад бесчеловечности,
Бумажных волокит не разводя!

А если «Эврика!»,
Как яркий лучик в тучах,

Блеснет в расчетах,

Крикнет со станка!..

То впору стать

Кузнечиком прыгучим!

Пройтись по цеху кувырком...

И на руках!..

Как часто хочется

Бесхитростно и просто

Решать дела

важнейшие на свете...

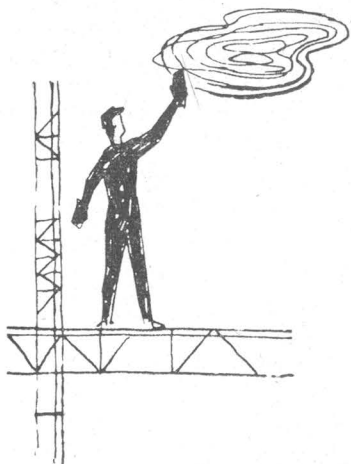
Стремится детство

поскорей во взрослость!

А мы —

завидуем нередко детям,

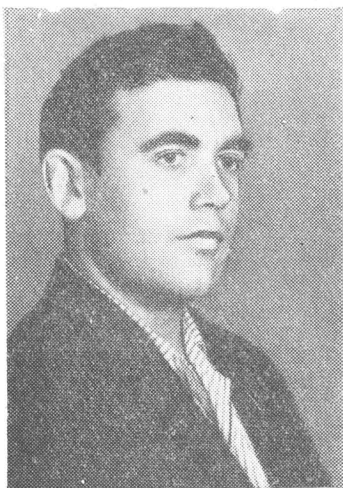
ВЫСОТА



Мы день за днем
Взбираемся все выше.
И впору облако
Схватить за бок покатый.
Растет под нами
И гудит, и дышит
В дожде электросварки
эстакада.
Гремит задорно голос бригадира
(Он весь цветет — вчера родился сын!).
Смеется солнце
Патетическому:
«Ви-р-ра-а!» —
И крутит золоченные усы.
Я не бывал на Эйфелевой башне.
Не признаю я
Созерцательных красот!
Мне подавай такую вот,
Как наша,
Чтобы утрами
глянуть в день вчерашний
с воздвигнутых
тобою же
высот.

ЭДУАРД УГРЮМОВ

* * *



Синие глаза у русских, синие,
Словно небо над родной Россиею.
Для привета и добра готовые,
Ясные сияют, васильковые.
Не одной размеренные мерою:
Есть глаза спокойные и серые,
С голубым или зеленым смежные.
Нежные глаза у русских, нежные.
Видели глаза на свете всякое.
Иногда бывало, что и плакали,
Только правды никогда не прятали,
Синеву заветную не прятали.
Гнев ли тронет души неумные —
Синие глаза в ту пору темные,
Словно тучи низкие, свинцовые,
Громом и огнем разить готовые.
Только долго русские не сердятся:
Снова голубым глаза их светятся.
Глубиной душевною красивые,
Синие глаза у русских, синие.

* * *

Бывает чувство странного затишья,
Прощанья с жизнью, с уходящим днем,
Как будто ты до вечности возвышен
Иль в мире беспредельном растворен.

И нет в душе ни горечи, ни страха,
Ни мысли, что завтра день придет...
И солнце голову на землю, как на плаху,
Закрыв глаза, в последний раз кладет.

ТАБУНЩИК

Степь дрожит, как живая, стонет.
Страх лавиной летит по ней!
Волки гонятся...

Волки гонят
Обезумевших лошадей.

Эй, табунщик! Скачи быстрее:
Там обрыв преграждает путь!
Может быть, ты еще успеешь
Лошадей своих повернуть!

Поздно...
Пропасти пасть раскрылась.

И в ущелье лихой джигит,
Разметавши руки, как крылья,
В голубой рубахе летит...

Но отвага и риск — не только
Принадлежность его труда:
В каждом деле обрывы и волки
Попадают иногда.

Но коней мы седлаем без страха
И поводья в руки берем!
На ветру голубая рубаха
Раздувается пузырем...



ПАВЕЛ МАЙСКИЙ

* * *

Когда вы совершите подлость
И в воду спрячете концы,
Вас всюду, рано или поздно,
Найдут другие подлецы.
Они расправят ваши плечи
И не оставят вас в беде.

Им тоже с вами станет легче
Среди порядочных людей.
И вас судить никто не будет,
Надежно спрятаны концы...
Вот отчего сгорают люди
И процветают подлецы.

ОТРЯД ИДЕТ НА КАНЫМ

ВЛАДИМИР ВЛАСОВ

ИЗ ДНЕВНИКА ГЕОЛОГА

Летом 1950 года из Сталинска (Ныне Новокузнецк) в район горы Большой Каным — вершины Кузнецкого Ала-Тау — ушла геологическая партия. Целью ее были поиски железной руды, в которой остро нуждались наши металлургические заводы. В составе партии шел студент-практикант Владимир Власов.

Мы публикуем его дневниковые записи этого похода. Скупые, лаконичные строки, записанные прямо у костра, на привале, воссоздают картину того, в каких труднейших условиях бездорожья, суровой природы, оторванности от базы снабжения делали первые шаги кузнецкие разведчики.

Их усилия не прошли впустую. По их следам пошли другие. В настоящее время качымские руды — ближайшая сырьевая база Запсиба.

Эпопея покорения Каныма — одна из ярких страниц в истории нашего края, она еще ждет своего исследователя.

В прошлом году Владимир Аскольдович Власов вновь вернулся на Каным, но теперь уже в качестве начальника крупной партии, которой предстоит провести здесь широкие разведочные работы.

8 июня 1950 года

Наконец-то сегодня отправляемся в дорогу. До места работ надо пройти пешком сто шестьдесят пять километров. Выехали из Кузнецка в десять часов утра. Первую часть пути — двадцать километров — проехали на автомашине. На перевалочной базе нас уже ожидали рабочие партии с лошадьми. Завьючили лошадей и в четыре часа дня двинулись дальше.

Дорога представляет собой просеку в тайге. По ней можно идти только гуськом. Впереди верхом едет начальник партии, за ним идут остальные. Каждый держит в поводу лошадь с навьюченным снаряжением.

Вокруг дремучая тайга: старые пихты окутаны мхом, он свисает в виде длинных бород. Картина величественная, даже немного жуткая. Часто проходили таежные поляны. Они покрыты таким обилием цветов, что представить себе трудно. Воздух чистый, смолистый, с непривычки кружит голову. Хочется лечь на спину и смотреть в небо, такое синее и высокое, дышать терпкими запахами леса и ощущать, как гудящая усталость покидает тело (но прилечь на стоянках не удастся, так как кома-ры — будь они тысячу раз прокляты — не дают не только лечь, но и сесть).

Перешли несколько речек вброд. Слава нашим сапогам и спецкостюмам — никто не промок. Шли до двух часов ночи, позади осталось тридцать четыре километра. Ночуем в лагере, где живут рабочие, подготавливавшие дорогу.

9 июня

Отдыхаем весь день. Дальше пойдет только часть наших рабочих, остальные вернутся в город.

Наш лагерь расположен на склоне хребта, заросшего лесом. Видимость километров на тридцать. Вдали множество хребтов, напоминающих огромные зеленые волны, вставшие на дыбы.

Ей-богу, сбываются мои мечты! Ведь я мечтал об этом с детства. И вся эта обстановка: дали таежные, палатки, костры, спутанные лошади, изредка позванивающие колокольчиками, даже комары — все это существует, я это вижу, все это перед моими глазами.

10 июня

Утром поднялись очень рано. Долго возились с упаковкой палаток, седловкой лошадей. Люди непривычны к такой работе. Только начальник наш, Георгий Федорович Горелов, держится молодцом. Сам учит рабочих завьючивать лошадей, рассказывает и показывает. Черт его знает, откуда такая куча знаний. С таким парнем не пропадем.

Конечный пункт нашего пути — старый заброшенный прииск. До него двое суток ходу по непролазной тайге.

До обеда шли без привала. Дороги нет. Ориентиром служат засечки на деревьях, их сделал Георгий Федорович, проходя здесь несколько недель назад. Идти дьявольски тяжело. Сильно устают и люди, и лошади. Очень много валежника, сучья так и норовят распороть лошади брюхо.

Сегодня ночуем в тайге. Эти строки дописываю в темноте, при свете костра. Братва ставит палатки, варит кашу. Настроение отличное.

11 июня

Добирались до прииска. Дорога еще хуже, потому что горы стали круче, обрывистее. В два часа дня сделали привал, отдыхали полтора часа. Как только снялись с привала, пошел дождь. Идем по хребту, внизу мчит и гудит бешеный горный поток. Даже с высоты видна пена и брызги на порогах и перекатах. В шести километрах от прииска вышли на тропу, проложенную золотоискателями. Везде видны их следы: старые шурфы, отвалы породы, остатки плотин и пр. Невольно вспомнился Джек Лондон. Я мысленно населял эти места сильными бесстрашными людьми, рисовал в своем воображении мрачные картины, некогда вычитанные из книг. Так вот оно, это место, где золото роют в горах! (Ну, в общем, Вовка, каким ты был, таким и остался: романтиком до самых печенок, разбей тебя гром!).

На прииск пришли в шесть часов вечера. Здесь несколько дряхлых, пошатнувшихся домишек и больше ничего.

12 июня

Весь день полоскал дождь. Готовились к последнему переходу. Подогнали сбрую и седла на каждую лошадь. Завтра идем на Большой Каным. В первом отряде двенадцать человек.

Вчера я растянул коленный сустав на правой ноге. Боль адская, ходить трудно. Лечусь по тибетскому методу: мочусь в тряпку и делаю компресс на ночь. Пока улучшений нет. Начальник смотрит косо на мою хромоту. Еще чего доброго не возьмет завтра с собой. Ну, уж это дудки, хоть на четвереньках, а поползу. Обидно идти вторым отрядом.

13 июня

Сегодня вышли с утра. Отряд ведет начальник партии Г. Ф. Горелов. Ориентируемся только с помощью компаса и карты. Впереди вершина горы Сох-Тайга. Она покрыта снегом и видна издали. Тропы нет, идем напролом по тайге, оставляя на деревьях засечки. В первом часу сделали привал. Нога моя совсем отказывается служить. Хромаю, как сто калек. Начальник пока молчит, спасибо и за это. Все-таки я иду с первым отрядом.

Оказывается, все, что мы прошли, — это пустыки. После привала начали подъем на хребет. Этот подъем измотал всех так, что люди, добравшись до вершины, сбросили вьюки, легли и минут тридцать лежали не шевелясь.

Когда поднимались на хребет, сорвалась лошадь. Бедное животное раз шесть перевернулось, пока не зацепилось седлом за старый пенек. Просто непонятно, как она не переломала себе ноги. Все-таки наш Г. Ф. молодец: если бы не его метод седловки и завьючивания, коня бы нам больше не видать. С первого дня он каждое утро предупреждает всех о том, что вьюк должен сразу слетать с лошади, если она начнет падать.

Коня вывели, переседлали, дали ему отдохнуть и пошли дальше. Вернее не пошли, а поползли на четвереньках, другим способом здесь передвигаться невозможно. Я, как инвалидная команда, иду сзади. Со мной конь, по кличке Бельчик. Он, бедолага, сбил себе кожу на спине и теперь идет без вьюка. (В общем, два сапога пара.) У Бельчика удивительно глупая морда, большие фиолетовые глаза закрыты длинной вульгарной челкой, грива спутана, ребра торчат, как прутья из худой корзины. Вдобавок еще эта рана на спине. Бедняга не знает покоя, так как мухи и пауты кружатся над ним целой тучей.

Во время короткого отдыха мы решили назвать этот чертов хребет Потогонным. Название вполне подходящее. Вот бы куда курортников, которые хотят похудеть! Даю голову на отруб на любом пенке, что за один подъем с них слетело бы четыре килограмма.

За день прошли всего двенадцать километров.

14 июня

Сегодня поднялись к белкам. Так называют здесь снежные вершины. На вершинах гор лежит туман, он, как плащом, окутывает их. Сох-Тайгу обошли по западному склону. Идти гораздо легче. Тайга кончается. Изредка попадаются березы, карликовые пихты и кедры.

Идущие впереди подняли медведя. Огромный зверь, косматый, с невылинявшей еще шерстью, худой, голодный, с ревом умчался в долину. По партии отдан приказ: если не грозит опасность, медведей, которые будут попадаться, не трогать.

К вечеру горы обволокло туманом. Туман такой плотный, что виден лишь хвост лошади, идущей впереди. В четвертом часу дня вышли на сплошное снежное поле. Рисковать не стали и вернулись по своим следам назад. Нашли площадку с травой, разбили лагерь. Внизу видно чудесное озеро, по берегам лежит снег.

Среди наших рабочих плохие разговоры: впереди, мол, непроходимые места, снег, обвалы и т. д. и т. п. Г. Ф. не тушует, говорит, что за два-три дня этот снег растает, и мы пойдем вперед.

15 июня

С утра начальник партии вместе с Николаем Саламахой выехали верхом к месту будущих работ. Их цель — разведать дорогу. Но туман, поднявшийся к одиннадцати утра, помешал им прогнать разведку до конца.

Несмотря на хромоту ногу, я сегодня спустился к озеру. Красота изумительная. Зеркальная поверхность воды, в которой отражается лес, прямо-таки завораживает. Сидел на берегу минут сорок. Вдруг на другой стороне из кустов вылез маленький медвежонок. У него была такая потешная морда, что он невольно напоминал расшалившегося кутенка. Спугнули малыша наши ребята, спустившиеся к озеру за дровами. Боже мой, кто бы видел, как он улепетывал! Это же прелесть, честное слово!

16 июня

День начался с суматошной охоты на медведя. Мишка подошел к лагерю и уселся поодаль на снегу. Наши темпераментные ребята с топорами и ножами бросились к нему, зверь сел на зад и со страшной быстротой съехал вниз, к озеру.

С утра было ясно. Легкий туман, окутывающий соседние вершины, время от времени расходит, и тогда открываются изумительные по красоте виды. То вдруг среди снежного поля мелькает зеленая — прямо-таки изумрудная! — поляна, то нагромождение скал, камней, напоминающее древние развалины.

Идти стало легче, снег тает на глазах. Бельчик мой приободрился. Он славно отдохнул за вчерашний день. А я по-прежнему хромотаю. Боль дикая, особенно когда спускаешься вниз. Вверх еще так-сяк, а вниз — могила. Время от времени еду на Бельчике. Однако без седла тоже не божь весть какая радость ехать на острой, как кинжал, хребтине. А седлать его еще нельзя — рана не заживает.

К вечеру прибыли на место работ.

Здесь, в районе горы Большой Каным, в 1932 году геологом Моничем и его помощниками были обнаружены в нескольких точках свалы магнетитовых руд. Предполагается, что запасы руд имеют промышленное значение и что в результате разведки можно будет подготовить месторождение, которое послужит хорошей сырьевой базой для Кузнецкого металлургического комбината.

Наша задача: найти и осмотреть все рудопроявления, выявленные Моничем, и, по возможности, вскрыть руду в коренном залегании, опробовать рудные тела, дать заключение о целесообразности тяжелых разведочных работ, составить геологическую карту района.

Пока же нам надо обязательно построить посадочную площадку.

17 июня

Горелов выехал назад, на прииск. Мы готовим аэродром для приема самолетов. Без него здесь жить и работать нельзя. Аэродром — это, конечно, громко. Нам необходимо подготовить площадку с подходами 600×100 метров. Трудимся не щадя сил. До обеда нас полоскал такой дождь, какой бывает редко. Устали, как черти, но работу не бросили, в ней все наше будущее.

Лагерь наш на маленькой и сравнительно ровной площадке, с которой недавно сошел снег. Со всех сторон сплошные снежные поля (толщина снега кое-где до трех метров). Днем тепло, а ночью, наверное, бы заоченели, если бы не спальные мешки.

18 июня

Работали на площадке. Дело заметно подвигается. Сильно мешают кустарники и кочки. За сегодняшний день разрушили около десятка куропаточных гнезд. Жалко птиц, но ничего не поделаешь.

Погода отвратительная: сплошной туман, из которого то и дело сыплется мельчайший, как из пульверизатора, дождь. К вечеру поднялся ветер; на дворе собачий холод, а в палатке ничего, терпимо.

19 июня

К двенадцати часам на площадке закончили все работы. Самолеты могут садиться свободно.

После обеда ходил с Николаем по окрестностям. Погода разгулялась, посмотреть есть на что. Лазили до вечера. Привыкаем. Ведь нам придется работать самим и совершать маршруты по сорок-пятьдесят километров, рассчитывая только на себя. С высот открывается даль на сто и больше километров.

Нашли несколько обломков руды. Пока только обломков...

В лагере встретили Г. Ф., он уже вернулся. Настроение бодрое. Завтра с утра я уйду с ним в рекогносцировочный маршрут.

20 июня

Сегодня был удачный день. Несмотря на плохую погоду, прошли около двадцати километров и вернулись к вечеру. Бельчик поправился, его можно седлать. Сегодня я часто взбирался на него. В гору он идет, как кошка, не обращая внимания на осыпи и трещины между камнями. Правда, характер у него, у подлеца, скверный: все время пытается укусить меня за колено. Г. Ф. уверяет, что он еще не видел более глупой лошадиной морды. Сам Г. Ф. ездит на Сером. Это очень красивый, стройный конь и хорошо идет рысью. Но я хоть и не спец, а вижу, что он быстро выдыхается на подъемах. Вообще я начинаю симпатизировать своему Бельчику. Мы с ним шли сюда, как калеки переходящие, связанные общим несчастьем. И вместе начали поправляться. Если бы ему еще малость отдохнуть, то он, несмотря на свой несуразный, компрометирующий всю лошадиную братию вид, забьет красавца-аристократа Серого.

21 июня

Сегодня опять в маршруте с Г. Ф. Погода мерзкая: через час дождь. Только высохнешь — и снова мокрый. Вернулись домой в восемь вечера, здорово умотались. Даже Бельчик перестал кусаться.

22 июня

Пишу 23-го утром, потому что вчера вернулись в двенадцать часов ночи.

Вот это был денек! До обеда прошли с Г. Ф. километров десять. Все было нормально, пока не попали в долину реки Заповедной. Видно, дала она прикурить тем, кто ее так назвал. Это какое-то сумасшедшее нагромождение скал, которые держатся в иных местах просто чудом. Внизу поток в пене и брызгах. Грохот такой, что нельзя говорить. Вдобавок ко всему проливной дождь в течение двух часов, после которого каждый камень, как зеркало. Бедные кони, сегодня уж им досталось.

Мы бы проскочили осыпи, если бы не дождь этот чертов. Сразу упали и Бельчик, и Серый.

Вот тут-то Бельчик себя проявил. Это же умница высшей марки: упал, шлемец, на спину и не пошевелился, пока я его не расседлал. А с Серым беда: при падении он застрял задней ногой в трещину и стал биться. Не знаю, откуда у нас хватило сил раздвинуть камни. Видно, в горячке. В общем, мы его вытащили. Три часа мостили дорогу из плоских камней и свели коней в реку.

Вот тут и началось. Через каждые десять метров — водопад, да и вообще вся река — сплошной водопад. Сто пядьдесят метров мы шли четыре часа, иногда по горло в ледяной воде. И только выбрались, как снова ударил дождь. Ну, такого я еще не видел! Это какое-то бедствие, вселенский потоп, ей-богу! Стена воды и непрерывные, до боли в глазах разряды молний. Если бы не Г. Ф., я никуда б не пошел, но он сказал, что все равно мокнуть, и мы двинулись в кромешной тьме, распарываемой огненными вспышками. У него зверское чутье и колоссальный опыт.

К двенадцати часам ночи мы были уже на аэродроме и увидели самолет, привязанный к кольям. Из-за этой горластой реки мы не слышали, как он прилетел. Летчики рассказывают, что не смогли улететь обратно из-за дождя.

23 июня

С утра все работали на площадке. Тут за эти дни выросла трава по колено, и самолет не может разбежаться. Косим траву лопатами. К двенадцати часам опять дождь. Летчики начинают клясть все хляби небесные, а заодно и наши пышки, которые мы печем в костре на лопатах и угощаем гостей.

Этот способ предложил Саламака, после того, как разбили единственную чугунную сковородку, уронив ее на камень.

Николай отличается необыкновенной смекалкой и практической хваткой во всех житейских делах. Он может запросто разжечь костер во время дождя, когда кажется, что из полена льется вода, замесить тесто прямо на прорезиненной тужурке, расковать и подковать коня на руках без кузнечного станка. По всему видно бывалого солдата.

24 июня

Работали на площадке. Погода та же: дождь и туман, туман и дождь. Самолет стоит. Летчики матюкаются, как звери, и каждую минуту вылазят из палатки, чтобы помолиться на небо.

Сегодня слышали шум моторов. Наверное, это отыскивают наших многострадальных пилотов.

25 июня

Послали нарочного на прииск с приказом дать радиограмму в Кузнецк о том, что самолет у нас. (На прииске наша рация.).

В одиннадцать утра над нами прошли в тумане два самолета, но нас не заметили. Через двадцать минут они вернулись. К счастью, ветер на минуту распахнул в тумане окно, и они нас увидели. Одна из машин сразу пошла на посадку. Мы дали две красные ракеты: посадки нет. Но летчик попался из бывалых ребят — сел так, что машина не дрогнула.

Вместо приветствия он обрушился на наших бедных пилотов такой цветистой тирадой, что мы только рты раскрыли: редко такое услышишь.

Любопытная создалась картина: пилот ругается, а бортмеханик сидит позади него в машине и рыдает. Оказывается, поиски продолжают-

ся уже трое суток, вылетел весь Новосибирск и Алтайский край. Но океанский туман крепко замаскировал наш лагерь.

После проклятий и рыданий все облобызались, и темпераментный пилот заявил, что сейчас же нужно лететь. Мы возразили, лететь мол, нельзя, земля сырая, туман непроглядный, но он махнул рукой: «Плевал я на все!».

С первой попытки он оторвался от земли. За ним взлетел и наш. Дали над нами два круга, покачали крыльями и ушли. Каков парень! Орел!

Мы снова одни. Опять туман. Но чувствуем себя веселее: наши неудачники улетели благополучно.

27 июня

Был в маршруте. С непривычки одному в тайге немного жутковато: все время мерещатся всякие звери вроде медведей, рысей, росомх и пр. Но все эти страхи — ничто по сравнению с красотой, которой не перестаю восхищаться. Тайга первобытная — это нечто непередаваемое.

Вернулся поздно. Уже темнело, когда я подходил к лагерю. Как радостно, черт возьми, когда вдали виден костер, слышно ржание лошадей и вообще весь разноголосый шум лагерной жизни.

За день сильно устал, но на подходе к лагерю услышал собачий лай и пошел бодрее. Дело в том, что у нас собак нет, значит, прибыли новые люди.

Точно, у костра заметно больше людей, и в стороне стоят чужие кони.

Вновь прибывшие — студенты Харьковского университета, их двое: третий — учащийся Саратовского техникума. Посматривают на мой наряд с некоторой иронией. На мне полевые сапоги с застегками, прорезиненная куртка, такие же брюки и шляпа с кашоном. Морда с бритой бородой весьма смахивает на пиратскую.

Новички выглядят лучше. Им не досталось перенести и десятой части наших мытарств. От Кузнецка они плыли сначала на катере, а потом на карбасах (лодка с конной тягой) до прииска. И только последние сорок километров прошли по уже готовой тропе. Ну, ничего, братцы, через пару дней вы будете такими же, как мы.

Г. Ф. еще нет. Они с Колей где-то задержались. Решили жечь всю ночь костер и греть чай на случай их появления.

29 июня

Г. Ф. и Коля Саламаха прибыли вчера в двенадцать часов. Оказывается, они подзаблудились в тумане и уже стали на ночлег в трехстах метрах от лагеря. Счастливый случай выручил. Как раз там я проходил маршрутом, и, когда Николай пошел к ручью за водой, он увидел отбитые образцы. Г. Ф. знал, что, кроме меня, там никто не был. Быстренько засадили коней и через пятнадцать минут были дома.

Кстати, о доме. Наш лагерь принял солидный вид. Стоят четыре палатки, горит костер, в погребе наш харч. В общем, обзавелись хозяйством.

Сегодня весь день льет дождь — дурацкая погода. Туман такой, что в пяти метрах ничего не видно. Камералили и готовились к дальнейшим маршрутам.

Пока дела идут неплохо, но трех рудных точек, найденных когда-то Моничем, мы найти еще не смогли.

Г. Ф. опять уехал на прииск. Завтра мы с Николаем поведем лагерь на новое место, это километрах в пяти от нынешнего.

2 июля

Ничего не писал. Было некогда. Эти пять километров шли почти восемь часов. Вот это места! Замучили и коней и людей. Зато теперь мы на том месте, где нам надо. Здесь будет наша база. А мы с Колей и со студентами уйдем в горы и будем кочевать с остановками на два-три дня.

Сегодня у меня знаменательный день: задал разведочную канаву на Лавреновском месторождении. Самостоятельно!

Было так. Чтобы хотя бы мысленно представить себе место, где должна пройти канава, я тремя параллельными ходами пересек (с компасом в руке) площадь распространения рудных свалов, вкрест общего простиранья пород. Хода расположил через двести метров.

Начал с места, где стрелка компаса не отклонялась, и стал пересекать предполагаемое рудное тело. В том месте, где стрелка резко колебалась, я из камня выложил пирамиду; при выходе из зоны рудного тела, когда стрелка возвращалась в нормальное положение, еще одну.

Так я выложил шесть пирамид, и когда поднялся на горку, то не вскрытое еще рудное тело лежало как на плане, оконтуренное пирамидами. По центральному профилю, где расстояние между пирамидами было больше всего, я и задал первую в своей жизни канаву.

Итак, канава длиной сто метров задана. Что-то она принесет?..

3 июля

Благополучно добрались до места нового жительства. Вид чудесный — стоим на восточном склоне огромного хребта. Здесь лучше, чем на базе. База в долине. А так как долина узкая и глубокая, то создается какое-то подавленное настроение, вроде ты в гробу.

Здесь же прекрасно. Только плохо: воды нет. Но зато много снега. Рубим его топором, растаиваем в ведре. Сегодня варил борщ с диким щавелем и сушеной картошкой. Заправлял свиной тушенкой. Братва в восторге, я тоже. Постановили варить борщ каждый день.

4 июля

Начали маршруты. Ходили по одному. Погода прекрасная. Очень тепло, можно загорать, но проклятые комары не дают покоя. Особенно от них страдает Вася Заварзин — студент Саратовского техникума. То ли мы притерпелись, то ли кожа у нас почернее и потолще, но никто особенно не жалуется. На Васю же больно смотреть. К вечеру его лицо краснеет и опухает, так что и глаз не видно. Уши покрылись болячками. Вася ругается, чешется, как чесоточный, но все остается по-прежнему.

5 июля

Все идет нормально. Работа на этой стоянке наполовину сделана. Хлопцы начинают приобретать настоящий вид, отпустили бороды. Теперь каждый день осматриваем бороды — утром и вечером. Много шумим по этому поводу. Было предложено осмотр бороды возвести в сан священного обряда и производить осмотр только в лучах заходящего солнца. Но предложение отпало, так как часто мы не видим солнца из-за тумана.

6 июля

День прошел, как обычно, в работе. Понемногу привыкаем к одиночеству.

Внизу, в долинах, за эти дни выросла трава по пояс. Вообще травы здесь растут быстро. С большим трудом можно идти по их зарослям.

Особенно после дождя. Да и без дождя трава всегда мокрая — от росы.

Появляются слепни и оводы. Уж если комары туда-сюда, то эти твари вообще какое-то исчадие ада. Жалят, подлецы, сквозь одежду, причем сразу на месте укуса — шишка.

7 июля

Завтра будем перебираться на новое место. Ходил на базу за лошадыю. Нет ни одной, все ушли на прииск за снаряжением. Взял харчишек.

Поглядел, что канаву начали с двух нижних секций по десять метров каждая. В наносах руды было, как говорится, навалом, но вскрытые первой секцией коренные породы оказались диоритами. Вторая секция тоже вскрыла диориты.

Настроение мое не из веселых. Я передумал черт-те что: и что я неуч — не мог попасть в руду сразу, и что вообще я несчастливый, никчемный человек, что зря меня учили четыре года. И еще, самое главное, как я буду смотреть в глаза Г. Ф., когда он вернется. Но все это про себя. На вопросы рабочих, где же руда, я отвечал уверенно: в следующей секции!

Некоторые верят, некоторые ехидно посмеиваются и говорят, что нечего попусту землю рыть, надо ждать Г. Ф.

8 июля

Рано выйти не удалось. К нам прибыли гости — охотники. Это хакасы. Они пасут колхозных коней в сорока километрах от нас. Время от времени они выезжают на охоту. Их трое: старик, парень и мальчишка. Народ хороший. Нас они нашли по дыму от костра. Сидели до одиннадцати утра.

Как только мы вышли, начался дождь. Он полоскал нас как из ведра. А тут еще пришлось переходить вброд речку. Вымокли до нитки, но зато день не пропал даром. Сейчас все уже обсохли, на костре кипит борщ — любимая наша еда, — настроение поднимается.

Сейчас наш лагерь на берегу ключа Серебряного. Это мощная река, которая слышна издали. Именно слышна, а не видна. Чтобы увидеть ее, нужно подняться на какую-нибудь вершину.

11 июля

Утром услышали выстрел. Это Колька приветствует нас и извещает, что он на подходе. Братва рада: Колька несет харчишек и новости.

Быстренько сготовили завтрак и целый час слушали новости и читали газеты. Вернулся Г. Ф. Он пришел ночью с конем на новую базу, на которой никогда не был. Как он не свернул себе шею на осыпях? Молодчина, ей-богу! Тут и днем можно заблудиться, как дважды два.

Сообщение о том, что канава пока руды не дает, он принял совершенно спокойно. К обеду он сам пошел на место работ.

И вот, когда он пришел туда, третья секция вся, на длину десять метров, вскрыла руду в коренном залегании.

Сегодня я услышал похвалу (через Кольку), дорожке которой мне еще не приходилось слышать. Г. Ф. сказал, что канава задана очень умно и что он сам навряд ли задал бы ее так удачно.

Начало есть!

Колька привез приказ оставить одного человека в лагере, остальным погрузить образцы на коня и вернуться на базу.

Для нас база, как город, хотя там всего четыре палатки. Много людей, весело.

12 июля

Камералили весь день. Наше положение становится все лучше. Самолеты сбрасывают продукты и овес. Правда, много продуктов при этом теряется: разлетается иногда вдребезги мешок (с мукой или с сахаром). Садиться самолеты не могут, так как площадка раскисла от дождей.

Завтра идем в свой лагерь. Оттуда будем топать дальше.

Г. Ф. распорядился выдать нам самые лучшие продукты.

Сегодня, принимая у нас маршруты, он сделал мне замечание: «Почему все тяжелые маршруты распределяются между Колей Саламакой, Васей Заварзиным, мной и Анатолием Моторой? Почему на долю Леонида приходится сравнительно легкопроходимые места?».

Я было попытался отбрезжаться, что все маршруты трудные, всем тяжело, но его не проведешь. Г. Ф., конечно, прав. Просто мы жалеем Леньку. Слабоват он. Правда, держится вроде бодро, но видно, что устает больше всех. И в мокрую погоду идет в маршрут с неохотой. Толя Мотора — тот проще. Ну, а Вася — сама простота. Это — трудяга. Он немного мешковат, даже неловок, но упрям необычайно. Уж если задание получил — умрет, но выполнит. А вот на отдыхе наоборот: Ленька рассказывает, поет, шутит, а Вася больше молчит.

14 июля

Прокляли сегодня все, что можно было проклясть. Нам дали лошаденку по кличке Дурочка. Она, как и Бельчик, монгольской породы, но капризная — дальше некуда. Сбрасывает выюки и вообще ведет себя безобразно.

По дороге подняли оленя. Я увидел его первым, остальные были заняты в это время успокаиванием Дурочки. Я случайно глянул в сторону и прямо-таки оторопел: в пятнадцати метрах, прямо посередине небольшой поляны, стоял олень-старик с огромными ветвистыми рогами. Очевидно, он отдыхал на поляне и поднялся, услышав нашу ругань.

Боже мой! Эту картину я буду помнить до гроба. Это был не зверь, а какой-то лесной бог! Огромного роста, он с необычайной легкостью, в три прыжка, достиг края поляны и остановился между двух берез, как в рамку встал. Колька дрожащими руками стал настраивать фотоаппарат, но эта проклятая машинка, очевидно, должна была служить только для забивания гвоздей. Пять минут (ей-богу, не меньше!) Колька возился с настройкой. Все это время олень стоял как вкопанный. Причем никакого испуга не было написано на его морде. Наоборот, такое спокойствие и вроде бы даже презрение во взгляде: дескать, что тут за личности бродят в моем лесу?

И действительно, лес — его. Стоило посмотреть, черт побери, как этот хозяин повернулся, положил на спину рога и медленным шагом пошел в заросли. Ну до чего хорош, подлец!

Колька, так и не справившись с аппаратом, зарычал и вдруг трахнул его об землю...

15 июля

Черта с два поработали...

Сегодня утром обнаружили, что наша Дурочка порвала путы, сняла узду, за которую ее привязали к березе, и исчезла. Собрали совет. Решили искать. Но где? «Вот в чем вопрос». Трое ушли в маршруты. Я с Васей пошел на поиск этой дряни.

Дошли по нашим следам до реки. В некоторых местах виден след лошади. Кажется, она пошла по той тропке, которую мы проложили вчера. Нам бы этого хотелось. Тогда она вернется на базу. У реки след

потерялся. Надежд мало. Вася пошел на базу. Он доберется туда к вечеру. Я же облазил все более или менее подходящие места, но, конечно, Дурочки не нашел.

Вернулся поздно. Ребята с убитым видом готовят ужин. Настроение паршивое. Эта идиотка украла у нас двенадцать километров маршрута. Кроме того, она стоит шесть тысяч рублей — сразу и не рассчитаешься...

16 июля

Проснулись рано. Все ходили как побитые. В восемь часов неожиданно появился Вася и еще издали заорал благим матом: «Братцы, нашлась!».

Вот это новость!

Оказывается, Вася вчера под вечер пришел на базу и узнал, что Дурочка явилась туда на три часа раньше. Удивительно, что она прошла этот путь одна и не заблудилась. Ей пришлось шесть раз переходить ключ Серебряный, да и реку она перешла в новом месте. В общем, настоящий женский поступок: ей, видите ли, стало скучно одной, она не может жить без общества. Бедный Вася так переволновался и устал, что даже не выпорол эту скотину, хотя она и заслужила.

Нам нужно сегодня же продвинуться на шесть километров вперед. Вышли в два часа. Стоит невыносимая жара. Мучает мошка, оводы, комары. Вся эта тварь висит тучей. Идти без накомарника нельзя, а с ним душно, неудобно. Мой верный Бельчик идет в облака этих паразитов и время от времени падает на брюхо от боли. Только лежа он может обезопасить свой живот от этих сволочей. Я первый раз вижу, как лошадь со всего маху падает на острые камни, не боясь пораниться.

Под конец пути вышли на самый хребет. Здесь сильный прохладный ветер, мошки нет. Все взбодрились. Бельчик отдохнул немного, а то во время остановок приходилось жечь дымарь у него под пузом.

Остановились лагерем на горе Чаш-Тайга. Внизу снег. Лагерь на полянке, в двадцати шагах от отвесного обрыва. Вокруг нас кедры и пихты, страшно изуродованные ветрами. В сумерках кажется, что это поднятые в мольбе руки, они словно один немой вопль: «Удержаться! Удержаться!».

Ветер рвет и мечет. Вой стоит такой, что и в кино не услышишь. Здесь все ноты, начиная от тонкого пронзительного свиста и кончая мрачным похоронным ревом.

Но в палатке тепло, уютно. У входа костер.

Сегодня у нас праздник — юбилей бороды. Моей бороде ровно месяц. Меня поздравляют. Хор поет песню. В общем, что-то вроде именин. Попиваем какао и отдыхаем.

17 июля

Мрачный день: я чуть-чуть не сгорел.

За эти дни здорово подсохло. Мох уже не пружинит под ногами, а трещит, как порох.

Это случилось в Порфириновом ущелье, недалеко от речки. Было два часа дня, я присел на минутку, чтобы описать обнажение, и закурил. Увлечшись, бросил окурочек и не затоптал его. Уже заканчивая описание, я почувствовал, что мне жарко, оглянулся — и в первую минуту подумал, что мне это снится — сзади меня стояла, колыхалась сплошная стена огня! Горело все, что могло гореть. Огонь распространялся со страшной быстротой.

Миллионы искр роем взвивались вверх, гасли в тучах дыма.

Одежда на мне начала уже тлеть, когда я добежал до реки. С ходу я ухнул в самую середину и, держа сумку над головой, погрузился в воду по самую шею. Успокоившись немного и почувствовав, что опасность миновала, я стал оглядывать берег. Небольшой лесок, расположенный, как остров среди каменных осыпей, был охвачен ревущим огнем. Сухие деревья вспыхивали, как спички, и сгорали в одно мгновение. За каких-то полчаса леса как не бывало. Только куча бесформенных, дымящихся головешек была там, где совсем недавно сидел я.

Успокоиться не мог до вечера, побаливает спина, кажется, мне ее прижгло. Ребята ничего не знают. Расскажу позже, надо успокоиться.

Сегодня приехал Г. Ф. Мы с Колей сдали маршруты и не удержались — похвалились ему, что нашли несколько обломков руды. Завтра с Г. Ф. пойдем искать ближайшую точку Моница, а затем — в район озера Рыбного.

20 июля

Вчерашний день прошел прекрасно. Кроме точки Моница, нашли еще одну. Медленно, но, кажется, верно подбираемся к руде.

Мы с Г. Ф. ушли на озеро немного раньше, чем все остальные. Николай повел лагерь вслед за нами. Сегодня нам легко. Кроме Бельчика, с нами еще и Серый. Они догнали нас на полпути. У Г. Ф. разболелась, распухла нога, поэтому идем медленно.

Судя по всему, нам придется крепко поработать на этой стоянке. Маршрут довольно интересный.

Дорога к озеру (вернее, не дорога, а путь) все время на подъем. Шли ложбиной, густо заросшей лесом. Видимости почти нет. Поэтому озеро появилось неожиданно.

Картина удивительная: огромное озеро, до километра в длину и до шестисот метров в ширину лежит, как в чаше, зажатое горами. С запада и севера берега скалисты, обрывисты, высота их до двухсот пятидесяти метров. В верхней части, в амфитеатрах каров, вечный снег. Эта мрачная и молчаливая громада скал кое-где оживляется серебряными нитями водопадов. Восточный берег сравнительно пологий и покрыт березняком. Южный берег, на котором мы стоим, — древняя морена, подпрудившая весь водоем. Над нашими головами раскинули кроны могучие кедры. Все это отражается в воде. Вода изумрудного цвета, на озере ни морщинки. Поверхность его так спокойна, что не верится. В южной части из озера вырывается бурный пенящийся поток. Он с шумом несет свои воды в долину.

Палатку поставили в пяти шагах от берега. Сегодня половину дня отдыхаем. Ребята ловят рыбу, поджариваем ее на углях. Рыбы тут полно. Целые стаи носятся у самого берега.

21 июля

Сегодня пережил одно не очень веселое приключение. Всему виной моя излишняя самонадеянность.

Маршрут лежал вдоль озера. Северо-западный склон постепенно прижал меня к воде. Глубина в этом месте порядочная — метра три. Я не пошел по кромке берега, чтобы обойти почти отвесный склон, на котором огромным козырьком повис снег. Казалось, он каждую минуту готов обрушиться в озеро.

Надо было вернуться немного назад и спокойно подняться выше снега. Понадеявшись бог знает на что, я решил взять подъем в лоб. Цепляясь за камни, я поднялся метров на десять и оглянулся. Не знаю, что со мной приключилось, но мне показалось, что я должен сию минуту

сорваться вниз. Мне до этого приходилось подниматься в местах похлеще, чем сейчас, и никогда я не замечал за собой страха, боязни высоты.

Но сегодня я сдрейфил. Может быть, это вода внизу так подействовала на меня, не знаю. Вид огромной поверхности, сверкающей, как зеркало на солнце, ослепил меня. Я глянул на берег и почувствовал, что сейчас свалюсь. Страх бросил меня вперед.

Я лез, не разбирая ничего, цепляясь за все, что попало. Я задышался и не мог остановиться передохнуть, потому что камни все время срывались у меня из-под ног. Остановиться — значило загреметь вниз.

Наконец, я добрался до маленькой площадки. Когда огляделся — ахнул: вперед пройти нет никакой надежды. Впереди вздымались скалы. Пришлось менять курс и двигаться с большим риском вдоль по склону, поднимаясь выше снега. Если бы я видел эти проклятые скалы снизу, сроду бы не полез. Но теперь отступать было некуда.

Из последних сил я прокарабкался по склону еще метров двадцать пять. Скалы кончились. Я поднялся выше снега. Но здесь новое препятствие: крутой склон усыпан мелким камнем, от малейшего прикосновения это каменное крошево рушится вниз. Благополучно проскочил еще метров десять и уже было вздохнул с облегчением, как вдруг почувствовал, что совершаю бег на месте. Каменная река текла подо мной. Так я топтался целую минуту, пока окончательно не расшевелил осыпь, и тогда я загремел вниз по склону вместе с тучей камней.

Не знаю, кто за меня молится так крепко, но факт налицо, уже перед самым снегом я зацепился за какой-то большой камень. Спасибо тебе, камень! Если бы не ты, худо бы мне пришлось. По снегу я бы, как по стеклу, пролетел вниз и прямо с козырька — в озеро. Может, я бы и не утонул, но сумку с документами утопил бы наверняка. А без них лучше и не жить.

Отдыхавшись на этом милом, симпатичном камне, я снова полез вверх. На этот раз все обошлось хорошо. Только обойдя поверху снежное поле и спустившись снова на берег, я почувствовал, что у меня болят грудь и руки. Но это пустяки. Главное — кости не переломал.

22 июля

Утром была хорошая погода, но пока сварили завтрак, небо затянуло тучами, начался дождь. К восьми утра тучи опустились еще ниже — дождь как будто начал утихать, но стоило нам отойти от лагеря, как он начался снова.

Надо сказать, у нас уже вошло в традицию: не возвращаться, если вышли. Я шел с Толиком половину пути по вчерашним следам (за исключением осыпей, ну их в могилу!), а половину — вверх, выше второй полосы снегов, в кары, царство курумников.

Когда стали подниматься ко вторым снегам, опустился туман. С одной стороны, все за то, чтобы немедленно возвращаться, а с другой — настолько интересное в геологическом смысле место, что не уйдешь. Да, тут было на что посмотреть!

Буквально на каждом шагу мы встречали обломки скарных пород (основная масса рудных залежей связана с ними). Темно-бурые, невзрачные с поверхности обломки разительно меняют вид, когда их разобьешь молотком. Свежий излом породы, почти целиком состоящий из гранатов, величиной от одного миллиметра до полутора сантиметров, буквально завораживает: темно-красные, изредка до черного, алмандины, желтовато-зеленыеgrossуляры, красные, иногда как кровь, пиропы настолько красивы, что невозможно оторваться.

Пока мы поднимались к снегу, рюкзаки наши были полны под за-

вязку, набиты карманы и пазухи. От дождя и тумана все отсырело. Ноги скользят, как на льду, а азарт хуже чем при игре в карты!

Мы нашли две огромные каменные глыбы, которые стояли шалашом. Под этой крышей было тихо и сухо. Мы сели отдохнуть, закурили. Описали последние точки. У нас выдалось, наконец, время полюбоваться на окружающую нас картину (а то когда лезешь вверх — не до этого).

Когда-то я видел в журнале картину «Хаос», не помню художника. Так наше место — это десять хаосов. В гигантском амфитеатре кара в диком беспорядке раскиданы глыбы скал, каждая величиной с добрый дом. Обломки скал, выше которых снег, камни, нависшие над снегом, туман, клубящийся седыми клочьями в каждой расщелине, плюс завывающий на все голоса ветер — все это выглядит более чем мрачно и подавляет. Так и кажется, что вот-вот грянет гром и на одном из утесов появится лермонтовский Демон.

Отдохнули и прошли дальше километра полтора. Холод пронизывающий. Борода в сосульках льда и инее. Часто встречаются водопады. Издали они похожи на волнующиеся блестящие нити. Идти дальше не решились и повернули домой.

Вечер выдался хороший, небо прояснилось, ветер стих. Сажу у костра, любуюсь озером. Под лунным светом оно чудесно. Сама луна отражается в воде, как фонарь какого-то хитрого волшебника. Все окрашено в зыбкие, нереальные тона. Скалы приняли еще более мрачный вид. Это особенно подчеркивается снегом, который при лунном свете стал матово-голубым и переливается, посверкивает голубыми холодными искрами. Он словно тлеет изнутри, и язычки пламени трепещут на его поверхности, готовой вот-вот вспыхнуть.

Тишина стоит космическая, только изредка всплеснет в озере рыба, побегут круги, и звезды запляшут, как поплавки. Костер прогорел. Осталась куча жара. Сидеть возле него приятно. Братва и Г. Ф. растянулись на потниках, толкуют про наши дела и планы. Но беседуют как-то лениво, больше смотрят на озеро да покуривают. В общем, идиллия полная. Не хватает какой-нибудь красавицы для колорита (разбей их гром! Написал и самому смешно, что бы тут с ней делали! Она бы, бедняга, разревелась, глянув на наши заросшие рожи).

Вот к костру подошел Бельчик, остановился, словно задумался. После того, как ему подстригли челку, он стал выглядеть приличнее. Глупое выражение, как-то незаметно переменилось на хитро-ехидное. Так и кажется, он сейчас включится в общий разговор и скажет вроде того, что нам, дескать, лучшего места не найти и нечего нам, как проклятым, таскаться по горам и скалам, где и травинки-то нет...

Да, хорошо отдыхать вот так, как сегодня. Но, может быть, этот отдых нам и кажется таким приятным именно потому, что мы мало отдыхаем. Мы пришли сюда с большим заданием и должны его во что бы то ни стало выполнить, хотя времени у нас в обрез. Сделано уже много, но надо сделать больше.

28 июля

Сегодня вернулись на базу. Здесь все в порядке. В лагере весело. Стоят шесть палаток — маленьких, защитного цвета, а посередине одна большая, белая — на 10 человек. В общем, даже красиво.

Узнал, что канава, которую я задавал, вскрыла уже более пятидесяти метров очень хорошей железной руды. Все довольны. Хожу сияющий, чувствую себя именинником. Глупейшая улыбка так и лезет сама наружу, несмотря на все мои усилия сохранить равнодушный вид.

29 июля

Камералили с утра до ночи.

Днем произошел небольшой инцидент. Г. Ф. навалился на Леньку и Толика, которые, надо сказать, повели себя весьма недостойно. Во-первых, они заявили, что собираются уехать отсюда не позже 15 августа, а во-вторых, что работа очень тяжелая и вообще условия тут неподходящие. Слава богу, что мы уже основную работу закончили, а то не знаю, что бы я с ними сделал — ведь они находились в моем и Колькином подчинении.

Первый раз вижу, как Г. Ф. вышел из себя. Видно, наши неудачи в смысле плохого снабжения и тупости его помпозов сильно на него подействовали. В общем, он нагнал на ребят страху, но чувствуется, что теперь уже ладу не будет. И это называются геологи. А я, дурак, еще жалел этих кретинов: посылал в легкие маршруты. А все же на душе нехорошо. Это не в городе, где поругался и ушел домой. Здесь никуда не уйдешь и волей-неволей на каждом шагу вспоминаешь, что в лагере неполадки.

30 июля

Камералили весь день. Вася Заварзин выехал на гору Чаш-Тайга, где у нас оставлены образцы. Выезжал он, вернее, пытался выехать часа два, не меньше. Хотел ехать на Бельчике, но Г. Ф. сказал, чтобы Бельчика не трогали, так как со дня на день я с Николаем уйду в дальний маршрут, километров за шестьдесят: лошадь должна отдохнуть.

Вася подседлал Серого, но тот вдруг заважничал, заупрямился и ни за что не хотел уходить из лагеря. Несколько раз Вася пытался перебрести на нем Заповедную, но не тут-то было. Серый не шел ни в какую. Вася расстроился, явился к Г. Ф. и бухнул: «Я лучше пешком пойду, чем на этой сволочи мучиться».

Г. Ф. вспылил, выбежал из палатки, с ходу вскочил в седло и начал пороть Серого плетью. Вот это был кадр для ковбойского кино! Серый встал на дыбы и, как кошка, через весь лагерь по кострам, по кастрюлям и ведрам — только шум стоит! Потом Серый пошел галопом и со всего маху перескочил Заповедную. Как они оба не убились — уму непостижимо.

В общем, Г. Ф. его укротил, и Вася уехал. Вернулся он уже к вечеру. Говорит, Серый шел как миленький.

2 августа

Вышли с Колей в дальний маршрут. Надо найти дорогу на Ивановку. Нас плохо снабжают. Попробуем возить продукты с Ивановки.

Погода замечательная: тепло и легкий ветер. Он отгоняет мошку. Идти легко. Перешли в долину реки Верхний Кибрас. Красота, а не долина. Мы ее называли «Отрадной». Ночуем на террасе над речкой. Горит костер. Верный Бельчик валяется по траве, взбрыкивает. Пузо у него, как бочка, и выглядит он весьма бодро.

Завтра трудный переход. Сварили галушник, напились чаю с ягодой. Сегодня маршрут вел Колька, завтра — я. Туго с едой. На четыре дня два килограмма муки и ложка соли. Сапоги свои славил я зря: разбились начисто. У Коли тоже. Ничего удивительного. В этих условиях даже железные не выдержат...

3 августа

Вот это денек!

Путь сегодняшней был сплошным хождением по мукам. Началось с того, что единственный свободный от скал берег оказался заболочен-

ным. А Бельчик ужасно боится болота. Да, такого болота испугаешься. Заросло сверху торфом, торф прогибается под ногами, и кажется, что идешь по волнам. Прошли его сравнительно удачно.

Дальше было хуже. Николай, который вел Бельчика в поводу, остушился и упал в воду. Конь тоже упал, замочил вьюк. В конце концов мы поняли, что долиной нам не пройти. К обеду забрели в такую теснину, что остался один путь — по воде. Каменные осыпи, скалы, круто обрывающиеся к воде, заставили нас подняться на водораздел. Здесь оказалось гораздо легче и веселее. Внизу, в узкой и длинной долине, затянутой туманом, чувствовали себя неудобно. Ночуем у маленького озера, берега его сплошь заросли черникой.

4 августа

Вчерашнюю ночь мы с Колей набрались страха. Часа в три в палатку к нам залез Бельчик. Мы высочили из спальников. Коля схватил коня — он очень беспокойно вел себя, — а я принялся раздувать костер, благо, что жар еще не остыл, да и хворосту была целая куча. Когда огонь разгорелся, Коля сказал мне, что видит медведя. То ли я ослеп от костра, то ли от страха, но я медведя не увидел. Зато я его услышал. Сначала раздался треск валежника, затем рев. Постепенно шум затих, зверь, вероятно, ушел в долину.

До рассвета мы уже не уснули: жгли костер, варили галушки и на чем свет стоит ругали мишку. Когда пришло утро, мы увидели, что вся черника по берегу озера была примята, обсосана. Видно, мы разбили свой лагерь в медвежьих владениях: зверь лакомился здесь ягодой.

За день мы дошли до Ивановки. Здесь, на реке Черная Уса, два поселка. По правому берегу в домах живут старатели, добывающие золото, по левому в палатках — геологоразведчики Усинской партии.

5 августа

Нам разрешили познакомиться с Ивановским месторождением марганца. С утра пошли в сопровождении геолога по горным выработкам. Месторождение очень крупное. Партия проводит здесь большие работы.

Нам показали штольню, которая прошла по руде уже более семидесяти метров. Штольню бьет старый проходчик Снигирев. Помогает ему вся его семья: сыновья готовят и возят крепь, дочь вывозит тачкой породу, сам старик ведет проходку. Работы выполнены безукоризненно. От устья до забоя штольня — картинка, как будто нарисована в учебнике.

Снигирев замечательно знает свое дело. Мы пообедали с ним, и он, узнав, что мы с Каныма, стал рассказывать, как он в свое время искал и добывал золото вблизи Каныма.

Туда раньше была тропа, но теперь заросла. Но ее еще можно отыскать по затесам на деревьях да по горелым кедром. Кедров жгли старатели, работавшие со Снигиревым.

В конце лета старатели вскрыли богатую золотую россыпь и так увлеклись, что пропустили все сроки возвращения. Уже снег лежал по колено, а они все работали, жалко было бросить участок. Зима закрыла единственную тропу, и, когда старатели наконец собрались уходить, дороги не было. Лежал полутораметровый снег.

Лыж не было. Они выстрогали лыжи из досок, все бросили вплоть до инструмента, взяли только золото. На самоделках идти пришлось долго. За три дня прошли сорок километров. Дорогу торили по очереди. Погода скоро испортилась, начался буря, мокрый снег. Люди начали замерзать. Часто делали привал и, чтобы не готовить дров, на каждом привале зажигали кедр прямо на корню и грелись около него.

Рассказывал Снигирев очень интересно. Потом он спросил нас, что мы ищем на Канyme. Узнав, что мы ищем железную руду, он стал говорить, как при промывке золота ему мешал «железняк», которого было очень много. Если судить по его описаниям, это была железная руда.

Россыпь располагалась по крупному притоку речки Чек-Су. Приток этот в верховьях разбивается на три небольших ключа, которые сливаются почти в одной точке. Ниже их слияния и надо искать россыпь.

6 августа

Ночуем на хребте Саргая. Весь день шли маршрутом. По хребту проложена дорога от Ивановки до ст. Ши́ра. Если найдем тропу старателей, то будем снабжаться с Ивановки.

Г. Ф. молодец, что послал нас вдвоем именно с Николаем. Лучшего напарника в маршруте и желать не надо. Мы хорошо сработались, так сказать, притерлись. Каждый знает, что ему делать. Поэтому все идет ладно: без спеха поспешаем. При остановке на ночлег, — а останавливаемся уже в сумерках, — минут через сорок все уже готово: конь развьючен, палатка натянута, пол устлан пихтовыми лапками, горит костер. Пока Коля готовит ужин, я запасаю дрова. Еще через час ложимся спать.

8 августа

Очень тяжелый переход в течение двух дней. Нашли тропу старателей. Перевалили водораздел Уса-Кибрас. Тропа, вернее ее остатки, еле заметна, а местами заросла травой начисто. Беспрестанные остановки в поисках исчезающей тропы, а также описания пород задержали нас до позднего вечера.

Вдоль тропы действительно через триста-четырееста метров стоят горелые кедры, которые жег Снигирев с товарищами. В Кибрасе нашли нарты с поломанным полозом и неподалеку пару сломанных лыж. Пока все по рассказу Снигирева подтверждается.

К вечеру, часов в пять, встретили Г. Ф. Он тоже выехал искать дорогу на Ивановку. Рассказали ему о «железняке», который мешал старателям мыть золото. Получили «добро» на поиски этого места.

9 августа

С рассвета вышли на поиски снигиревского места работ. По карте отыскали приток Чек-Су, берущий начало из трех ключей, которые сливаются почти в одной точке. Он назван Сентябрьским.

К обеду мы были на тропе и часам к двум дня вышли на слияние трех ключей. Повсюду видны следы старателей: разведочные шурфы стоят целехонькие, ни один еще не обвалился. Ниже по речке отвалы перекрытой породы, груды камня, а в левом борту — остатки четырех землянок, почти целая баня, обвалившийся склад.

Не доходя до этих строений метров триста, в ключе подняли несколько образцов железной руды. Это не чистый магнетит, как на Канyme, а магнетит-гематитовая руда. Она красновато-бурого цвета, слоистая. Отчетливо видны отдельные прослойки кварца, полевых шпатов, гематита. Вполне возможно, что здесь, в районе, сложенном осадочными породами, могут быть и осадочные руды. Вот это было бы здорово!

Несмотря на проливной дождь, мы тут же двинулись вверх по ключам искать руду в свалах, но долго не выдержали и часа через два вернулись.

Сегодня палатку не ставили. Расположились в уцелевшей землянке. Здесь очень уютно. Вдоль стен — нары. Стоит железная печка. В ней

уложены дрова и береста. Рядом еще целая куча дров, топор, пила. На полочке в стеклянной банке соль, коробка спичек в бумаге и полпачки махорки. Кто-то добрая душа, покидая в бурю эту землянку, еще подумал о будущих постояльцах. Под нарами лопаты, кайла, старательские лотки, в которых мыли золото, кувалды, клинья и металлические щетки. Назначение последних нам неизвестно.

Мы обсушились, поужинали и часов в шесть вечера, благо дождь перестал, решили попробовать поискать золото.

Первые три промывки ничего не дали. Тогда мы вспомнили теорию и стали брать породу для промывки прямо с коренных пород. Коля первый отмыл четыре знака. Четыре маленькие, еле заметные золотишки! И тут нас такой азарт охватил, что мыли до темноты. Намыли грамма два. Возьмем с собой как образец.

Спасибо Снигиреву. Если бы не он, мы бы сюда неизвестно когда добрались.

10 августа

Маршрутили по одному, с утра до ночи. Погода плохая, не высыхаем до вечера.

11 августа

До обеда работали и рабочим ходом ушли на базу. Пришли поздно. Г. Ф., оказывается, прямо с Ивановки заезжал к нам, но землянку не нашел. Вернее, не стал искать: в ключе поднял рудную гальку и ударился в поиски. Ну, это понятно. При таких находках азарт появляется страшнейший. Г. Ф. также надеется, что руда будет осадочного происхождения. Это значит, что у будущего месторождения большие перспективы.

12 августа

Прекращаем все работы и переходим полным составом (за исключением Лавреновского участка) на ключ Сентябрьский.

13 августа

Все ИТР и рабочие переведены на горные работы. Ведем расчистки, бьем канавы по притокам Сентябрьского. Г. Ф. сам работает в забое и работает так, что шум стоит. У нас мало времени, нет взрывчатки, а до зимы надо во что бы ни стало найти руду в коренном залегании. Здесь это сложнее, чем на Лавреновском. Руды слабо магнитны, и компасом их не засечь. Надо бы геофизиков с магнитометрами, но их нет. Здорово уматываемся. Ходить-то мы привыкли, а к кайле и лопате — не очень.

Вечером ремонтировали баню.

14 августа

С утра до пяти вечера все, кроме Васи, в забоях. Находим обломки руды. В коренном руды пока нет.

Вася топил баню. Ура! Трижды ура! Впервые со дня выхода из города мы моемся в настоящей бане и паримся до потери сознания. Некоторые делают по три-четыре захода. Если к бане подошел бы посторонний и послушал, что там творится, он, наверное, бы сказал: это пыточная камера, там живьем жгут людей и ломают им кости. Такие стоны и крики, а то и рев оттуда несутся! Вася парит свою руку. Остальные просто парятся для удовольствия.

15 августа

Копаем, копаем и еще раз копаем. Нас стали лучше кормить. С Ивановки завозят хорошие продукты. На Лавреновском отобраны первые пробы по канавам. Дробить их не в чем: нет ступ. Все больные и немощные занимаются дроблением — дробят прямо на камнях. В реке находим валуны с углублением в виде чашки и в этих углублениях, на манер древних людей, размалываем руду. Дело муторное, но крайне необходимое.

16 августа

Опять копаем по целому дню. Находим одни обломки. Самолеты к нам не летают. На площадке из-за дождей — жидкий грунт. Снабжение только вьючным транспортом.

17 августа

В левом борту ключа вскрыта руда в коренном залегании, но она совсем не похожа на ту, что встречается в обломках. Надо искать еще, а искать некому. Нас мало. Г. Ф. снял на горные работы и шлиховой отряд.

25 августа

Скоро конец лета, а на этом участке сделано так мало. С обработкой проб дело идет туго. Коля приболел. Жалуются на желудок, но работает по-прежнему в забое.

Наши выработки поднялись к самому водоразделу. Сегодня Г. Ф. заставил нас с Колей сделать глазомерную съемку и привязку всех выработок.

За последний месяц Горелов сильно сдал. Он заметно похудел, осунулся. Ему труднее всех: приходится отвечать за все виды работ, за снабжение, за технику безопасности, за здоровье людей и за все, чего сроду не предусмотреть. Для того чтобы облегчить ему условия, месяц назад назначили нового начальника. Но это начальник-невидимка. Мы его еще не видели. Все тянет на себе Г. Ф.

27 августа

Ночью и утром уже прохладно. Мошка исчезает, комаров и паутов не видно. Листья на деревьях желтеют. Скоро зима.

Нужно бы пройти несколько больших канав, метров по двести, но нет людей, нет взрывчатки. Если бы ходили самолеты, можно было бы завезти. Закопушками нам руды не поймать.

28 августа

Г. Ф. велел мне и Васе собираться. Мы должны отвезти и сдать пробы, сюда мы нынче больше не вернемся. Коля пока останется, он выйдет после нас дня через три.

29 августа

Распрощались с ребятами, ушли на старую базу. Готовились к переходу. Запаковываем готовые пробы во вьючные сумы. Вес вьюка килограммов восемьдесят. Свои образцы несем на себе, так как нам дают только одного коня — Бельчика. Г. Ф. предупредил, что от Воскресенки мы уплывем с пробами на карбасе. Приказано беречь пробы как зеницу ока. Вьюк обвязали длинной веревкой с сухой чуркой на конце. Если вьюк утонет, то его можно будет найти по этому поплавку. Во вьюке — результат работы всей нашей партии. Завтра выходим рано.

30 августа

За день прошли пятьдесят километров. Бельчик вел себя образцово-показательно. Никого не кусал, не лягался и вообще не выкидывал фокусов.

31 августа

Вчера познакомились с командой и капитаном карбаса.

Сегодня к восьми утра наш груз уже уложили в карбас, и мы приготовились к отплытию. Присели по русскому обычаю, выкурили по сигарке, пожали руки остающимся хлопцам и заняли свои места в лодке.

В это время Бельчик, с утра находившийся в каком-то беспокойном состоянии, заметался по берегу и заржал. Ребята кинулись его ловить. Он бросился в воду и побрел к лодке. Пришлось мне вылезти на берег и успокоить его. Он будто чуял, что мы расстаемся, все время пытался спрятать свою голову мне под мышку. Я его поцеловал в морду и чуть не заревел. Ведь этакая скотина! Отдал я повод ребятам и убежал на карбас.

Капитан подал команду, и через минуту нас подхватило мощное течение. Обогнув скалы, мы снова увидели ребят на берегу, они махали шапками и стреляли вверх. Мы с Васей тоже дали прощальный салют.

Вчера нас предупредили: гарантировать вашу жизнь не можем. Сегодня мы убедились, что это была не фраза. Река в иных местах просто становится бешеной. Берега только мелькают. Капитан правит огромным веслом, стоя на корме. На перекатах вся остальная команда (три человека) вооружается шестами и помогает капитану.

Нужны железные нервы и ловкость, чтобы уберечь лодку от удара. Одни названия порогов чего стоят: Чертово колесо, Лихорадочный, Волчьи зубы и т. п.

Наш бравый капитан только крикает в трудные моменты да вытирает рукавом пот.

Вася Заварзин сидит на вьюке с пробами. Вдруг он трогает меня за плечо и молча показывает назад. Отсюда, с большого плеса, вдали видны подсеребренные снегом громады гольцов.

— Прощай, Каным — говорит Вася.

Я поправляю его:

— До свидания, Каным! Мы вернемся.

Знаете ли Вы, что

...в 1851 году открылась первая в Кузбассе угольная копь — Бачатская. Все ее имущество и оборудование оценивались в 445 рублей 95 копеек. Оно состояло из одного дома — кузницы, одного конного и трех ручных воротов, двенадцати молотов, четырех лопат, семи бадей, 20 кайл, шести клиньев и четырех носилок...

...в феврале 1929 года шахтеры горловской шахты № 1 (Донбасс) вызвали на социалистическое соревнование анжеро-судженскую шахту № 5-7. Этим было положено начало традиционному соревнованию между двумя крупнейшими бассейнами страны — Донбассом и Кузбассом.

ОСЕННИЙ ОТПУСК

Рассказ



езымянный разъезд тих и скромн. За березовым лесом угасает серый день. Пожухлые легкие листья, еще редкие, переметають дорогу и слабо шуршат.

Только что умчался в розовую россыпь заката скорый поезд. На перроне остались двое. Пожилой тучноватый мужчина в коричневом демисезонном пальто и молодая женщина с милым маленьким лицом и большими удивленными глазами.

— Еще один бросок — и мы у финиша, — сказал мужчина.

Лида остыла от сырого ветра, устала от долгой поездки, сердилась, что нет попутной подво-

ды и ничего не ответила.

— Полтора, значит, километра? — бодро спросил Дмитрий Сергеевич у жены мягким баритоном и поднял чемодан, перехваченный дорожными ремнями. — В фронтовую бытность хаживали и более. Одним словом, идем, дружок. Нечего время терять.

Лида нагнала мужа, пристроилась в ногу. Влажная, темная дорога тянулась вдоль зяби, неуютной от однотонности. Когда проходили лог, Лида показала рукой вниз и быстро заговорила:

— Вот здесь мы с мамой метали сено. Я раз даже упала со стога...

— И ушиблась, наверное?

— Нет... Испугом отделалась.

— Просто тебе повезло. А у меня совсем другое было. Маленький я был тогда и решил полетать. И знаешь на чем? Да на обыкновенном большом листе фанеры. Сейчас и вспоминать один смех. Залез на крышу дома и спланировал... Врезался в снег и лицо все ободрал. Ко всему этому потом отец меня за уши отодрал. Сказал: вначале думай, а потом делай. — Дмитрий Сергеевич повеселел:

— Вот и к финишу подходим, дружок.

Лида рада бы бежать, но Дмитрий Сергеевич шел ровным степенным шагом, и ей не хотелось казаться в его глазах ребенком.

Деревушка выглядела пустынной. Слева стояло несколько животноводческих помещений с водонапорной башней. Пониже мастерские, а рядом трактор и комбайны. Над домами кое-где высились телевизионные антенны. У самой реки новое кирпичное здание. Раньше его не было. На правой стороне деревни, ближе к болотистому кустарнику, все такой же поселочек из маленьких домиков. Он назывался раньше Грачиным поселком. Наверное, и сейчас его также прозывают. Там и мамин домик. Посреди деревни гигантами высятся полдюжины многолетних сосен. Еще девчушкой Лида бегала туда с подругами по вечерам на танцы. В войну у них клуб засыпали зерном, гармошки не было, и

они плясали и танцевали под две балалайки. Узнала Лида и крутой изгиб родной речушки. Там есть зеленый омут, в котором раньше водилось много всякой рыбы. Туда она обязательно сводит Диму. Ему наверняка понравится тот уголок...

Приземистая избенка со свежей привалинкой ютилась в конце деревни, недалеко от дороги. Плетень разохся. Калитка шаткая, серая, тонко скрипнула, когда Лида потянула ее на себя. Старая женщина в больших очках, со сбившимся на затылок платком, вышла на двухступенчатое крылечко и остановилась. Пробегая через оградку, Лида успела разглядеть, как мать с трудом подняла сухую жилистую руку и полусогнутым пальцем стала отирать слезы. Разве чаяла она увидеть дочь! Столько жданок понапрасно истрачено, столько думок перемыто слезами по вечерам.

Уткнулась Лида в плечо матери и сникла, забыв обо всем. А Дмитрий Сергеевич неловко топтался рядом, не ставя чемодан на землю и также неловко улыбался.

— Мама, мой муж... Дима... Дмитрий Сергеевич, — догадалась, наконец, Лида.

— Заждалась я вас, милые... — запричитала мать. — В последние дни сердце так и вещует, так и вещует... А тут сон. Собаки, вижу, прорвались — и на меня. Кровь видела. Знамо, свой прибьется — родная кровь... Входите, чего тут-то? В ногах, известно, правды нет. Да в дверях притулитесь. В непривычку наши-то светелки, милые...

Русская печь у порога, кухонный самодельный стол, старинный сундук, обитый железными поржавелыми полосками: все освещалось через крохотные окошечки догорающим холодным закатом. В избу сизыми тенями заползал полумрак, располагая к ужину, к тихому разговору.

Дмитрий Сергеевич все пытался заглянуть через простенькие шторы в комнату, но сдерживался. Ему хотелось узнать, не деревянная ли там кровать. В них, слышал он, в изобилии водятся клопы. А клопов он терпеть не может.

Так вот где Лида провела детство. Если уж говорить откровенно, в такой обстановке нет плодов для фантазии. Потому и жена его такая тихоня. «А где, кстати, работает, ее мать? Убей не вспомню...»

— Дима, правда, милый наш домик?

Лида хотела рассказать ему о сверчке, что помнится ей с детских лет. Взглянула мужу в лицо — расхотелось. Пусть это останется при ней. Сейчас бы вот услышать знакомое верещание. Представился тот сверчок стареньким, хроменьким. Улыбнулась своим мыслям и, чтобы муж не заметил этого, отвернулась. Бывало в войну, еще тоненькой, голенастенькой девчушкой бегала она с подружками на пашню собирать мерзлую картошку. Возвращалась, посиневшая от холода, взлазила на печку и, согреваясь, слушала домовитого сверчка. И от его нехитрой песни становилось в избе теплей...

— А что, вполне подходящий, — сказал Дмитрий Сергеевич. — Печь... Старая вот... — показал на угол печи, где штукатурка немного отвалилась.

Расплылась по комнате темнота, и старушка включила свет. Потом подошла к ящичку, вынула из-под самого низа синий, заношенный платок, развернула его, достала три мятых рублевки. Лида заметила: последние. Хотела сказать втихомолку, чтоб не беспокоилась, но мать топорливо выскользнула за дверь.

Она вскоре вернулась. Сделала глазунью, поставила на стол чашку соленых груздей, малосольные огурцы и ко всему этому поллитровку.

Сели. Минуту молчали. Старушка не знала: самой ли ей открывать бутылку или возьмется за нее зять. Потом она вилкой неумело сняла пробку и разлила водку по граненым стаканам. Себе плеснула чутков в эмалированную кружку. Закусывая груздем, Дмитрий Сергеевич заговорил:

— Грибки — это белки. Собственно, жизнь. Ни одно живое существо не может жить без белкового обмена. Деревня этим и сильна: витамины, белки, жиры, кислород...

— Дима, мам, работает преподавателем химии в институте, где я училась... А Зорьку зачем продала? И не писала... — Лида от ста граммов охмелела, покраснелась, и ей было жалко мать, саму себя и весь мир.

— Прдала, доченька, Зорьку-то. Не под силу косить мне исполу. Да и хлопот меньше. От полочки до полочки дотягиваю и ладно. Убирать четыре класса не так уж обузно. Вот и за груздочками когда схожу. Правда ль, нам повысят оклады? Вам-то известно...

— Да, мать, низкооплачиваемым всем прибавят, — Дмитрий Сергеевич допил водку и добавил: — Улучшается жизненный уровень...

— Хорошо бы, — старушка вздохнула, разлила остатки водки и стала приглашать выпить. Сама она от одного глотка ослабела, положила усталые руки на колени и горячими глазами смотрела на дочь, лишь изредка переводя взгляд на зятя.

— Может, схожу еще за одной?.. Продавец добрый — не откажет...

— Нет, что ты, мама, хватит. Дима вообще-то не пьет. Он так, ради тебя.

— Ну ладно. Хорошо и так...

Дмитрий Сергеевич поглядывал на морщинистое лицо матери, на Лиду и думал, что вот не встретить он Лиду в институте, вернулась бы она в село и стала такой же зачернелой и невзрачной.

Потом, лежа в постели, Лида думала о трудной жизни своей матери. В войну погиб их отец, и она вырастила ее и брата. Брат не пережил войну — умер.

— Дима, а что если мы уговорим маму с нами поехать?

Дмитрий Сергеевич не отозвался. Он равномерно посапывал носом. Лида вздохнула и повернулась на бок.

Дмитрий Сергеевич не спал. Просто он не нашелся с ответом. Ему представилась вечеринка в его квартире. Собираются историки, химики. Преподаватели школ и институтов. Люди модные и культурные. Он любит изысканное общество. Они не оставят без внимания шутку, острогу. Особенно подхватывал его остроты Зиновий Павлович — историк. Да и сам он немалый шутник. Интересно, что бы он на моем месте ответил? Как он поступил? Оно, собственно...

За окном заиграла гармошка, запоздалая и грустная. Засыпая, Дмитрий Сергеевич думал: теперь полная деревенская идиллия. Вот бы клопов не было...

На третий день Дмитрий Сергеевич согласился пойти с Лидой к речке, где когда-то была мельница. Лида говорила о зеленом омуте, о тайне, неразгаданной в детстве, о всплесках большущей рыбы, о ночных путешествиях русалок. Дмитрий Сергеевич улыбался точно так, как над студентами, путающимися в ответах.

— Идиллия, дружок, — потом заскучал и стал смотреть на золотые стожки соломы за рекой, на сизо-сероватый горизонт, на голые прутья ивняка.

— А вот на море сейчас, Лидочка...

— Дима?!

— Молчу, дружок. Вообще-то здесь мне нравится. Знаешь, эдакое настроение умиротворенное...

Лиде неожиданно стало скучно. Померкла созданная ею дивная красота зеленого омота, и не захотелось быть больше у речки. Она заспешила домой...

Дмитрий Сергеевич сделался ласковым со старушкой и, как-то вечером, нарубив дров, вытянулся во весь рост в кухне, аж тесно стало, поправил ладонью густые светлые волосы и повернулся в ее сторону:

— Мамаша, а с вас бы портрет надо писать! Да-да, дружок, портрет. Прожить такую жизнь, полную лишений и утрат, как муж... Одним словом, героям такое под стать!

— Куда нам... — старушка умиленно и заискивающе смотрела на зятя и думала про себя: «С чего бы это он такое на меня?».

День начинался блеклой хмарью. Небо в сизых подвижных тучах. Цедил мелкий бесшумный дождь, и низенькие окошечки слезились тихо и безутешно. Дмитрий Сергеевич только что поднялся и курил у печи. У него было состояние, какое обычно бывает у человека после долгого сна: не хотелось двигаться и говорить. В памяти лениво вставали картины города. Видел он себя то на стадионе, то в кафе, то в читальном зале, то за бильярдом...

Сиди и притворяйся, что тебе здесь нравится. Как убраться из этой дыры? Будто я не хозяин своей семьи? Сказать, как отрезать, — домой! А жена-то моя... Старуху взять... Соберутся друзья, а тут — опенок... Денег давал — не взяла. Туда же... Ну, что ж, найдет после нас. Схватится, рада до безумия будет.

Дмитрий Сергеевич быстро собрался, почистил туфли, поправил галстук перед осколком зеркала у рукомойника и вышел за дверь.

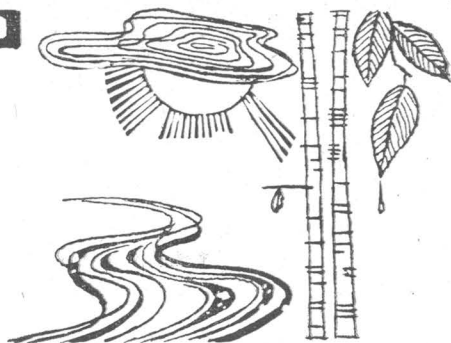
Вернулся через полчаса. В комнате на стол поставил розовый радиоприемник «Рекорд» и, не отвечая на молчаливые взгляды супруги, начал монтировать антенну и вести из кухни проводку к розетке. Закончив, сходил вымыл руки, вернулся и настроил приемник.

— Теперь, мать, весь мир вместится у тебя в избушке... С такой техникой рай, да и только. А нам пора... Не обессудьте... Спасибо за все...

На разъезде, как в прошлый раз, никого не было. Домик, служивший вокзальчиком, будто склонился к земле под тяжестью низкого слезливого неба. Лида стояла на перроне, куталась в воротник и смотрела в подвижную изморось, откуда должен появиться поезд. Вглядывалась она туда сосредоточенно, будто хотела найти ответ на мучивший ее вопрос: отчего в груди теснится смутная тревога?..

Вернулся с билетами Дмитрий Сергеевич, взял жену за плечо и слегка повернул к себе. Она увидела чисто выбритый подбородок, галстук с ракеткой на сверкающем зажиме, острый кадык порезанный при бритье. Лиде не хотелось смотреть выше. Она боялась увидеть довольные, с усмешкой глаза...

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ



СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Люблю к людям приглядываться. Вроде посторонний человек, незнакомый, а приглядишься — увидишь, какой он. Может, иногда ошибаюсь, но только для меня это как игра в волшебное зеркало.

Вот прошлой весной заметил я, что всегда одну девушку встречаю. Как иду с работы, так навстречу она. Маленькая, тоненькая, легкая необыкновенно. Словно не идет по земле, а только чуть касается ее. И вся светится улыбкой. Совсем не так, как другие, улыбается. Не глазами, не губами. Бегут вприпрыжку веселые ноги — улыбаются. Руки в голубых варежках — улыбаются. И пальто, и синяя шапочка с помпоном, и выбившиеся прядки светлых волос улыбаются вместе с ней.

Однажды я повернулся и пошел следом.

С детства живу в этом городе, каждый день проходил мимо почтамта за углом и не знал, что это какой-то особенный дом. Девушка вошла туда, на ходу достала из кармана студенческий билет, подала в окошечко.

«Окно № 11. Выдача корреспонденции до востребования. От А до М».

Я встал рядом, делая вид, что разглядываю открытки. Девушка, волнуясь, следила за руками, перебиравшими письма.

— Это мне!

По-моему, она даже не увидела еще ни адреса, ни почерка. Но письмо вправду оказалось ей. Чутье!..

Торопливо разорвала конверт и будто пошла навстречу любимому, счастливо улыбаясь. Прочитала письмо, спрятала его и ушла, все такая же сияющая.

Назавтра я не прошел мимо почтамта. Сел у стола напротив того окошечка и стал ждать ее, разглядывая попутно других людей. Тут как на вокзале было: шумно, тревожно. И какое-то особенное расположение людей друг к другу. Дорожное. Бесперывно хлопала дверь. Девушка так же стремительно, как вчера, вошла в зал. Но остановилась в стороне от окошка и достала... вчерашнее письмо. Принялась читать его, вновь улыбаясь тому, кого видела за строчками. Как на свидание пришла.

С тех пор я каждый вечер заходил сюда. Покупал свежие газеты. И ждал. Обязательно раз в четыре дня она получала письма. В другие дни приходила просто так. Читала старые.

Однажды ей сказали:

— Нет вам ничего.

А за ней к окну цепочка людей. Она отошла, как-то беспомощно огляделась вокруг, потом решительно встала в конец очереди. Минут через пять снова протянула студенческий:

— Посмотрите, пожалуйста, еще раз... может, пропустили письмо...

Но руки за окошечком перебрали все те же, чужие, письма.

Она медленно прошла к выходу. Лицо ее было чудным. Будто спрашивало у всех: «Почему это?..».

Письмо пришло на следующий день. Сказать, что она обрадовалась ему больше, чем другим? Разве можно радоваться более? Просто она теперь знала, что письма могут задерживаться.

Примерно через месяц девушка исчезла. Не было ее неделю... пол-месяца... У меня уже вошло в привычку покупать на почтамте газеты, просматривать их тут же, ожидая ее. Мне казалось, что я охраняю эти ее свидания. И вдруг их не стало. «Почему? Может, не придет никогда больше?».

Она пришла. Та же. И вовсе не такая. Какая-то удивленная. Какая-то спокойная, уверенная, совсем-совсем взрослая. Даже шла не так. Раньше — летела. Теперь казалось, что она плывет. Как большая гордая птица.

И снова повторялось все у окошечка. Только письма теперь приходили через неделю. Всегда по средам.

Прошло лето, и осень кончилась. Она пополнена, еще больше изменилась, и я понял, почему она стала другой. Это была молодая женщина, счастливая от своей любви даже в разлуке. Видели б вы, как читала она письма... Я и его — того, кто писал, — представлял себе. Большим, веселым, ласковым. Это видно было в каждом слове, отраженном на ее лице.

В одну из ноябрьских сред ей ответили:

— Пока ничего нет.

«Нет. Почему нет?»

Наверно, она как-то объясняла себе это. Может быть, очень занят. Или не сумел сразу ответить. Не всегда ведь это просто. Письмо придет завтра.

Оно не пришло.

Послезавтра... Письма не было...

Задумчиво стояла она в очереди к окошечку. Смотрела, как руки перебирают не его письма. Отходила, убеждая себя в том, что на свете много-много причин для задержки письма. Уважительных причин, понятных ей.

Еще день... еще... еще...

Теперь она входила в зал нерешительно. Если к одиннадцатому окну не было очереди, она смотрела в киоске газеты, журналы... тянула время. Потом ждала, глядя в окошко. Упрямо ждала. Какое-то отчаяние было в этой протянутой руке, держащей потертый студенческий билет. Уходила она, сразу же начиная ждать следующего вечера.

Письмо пришло дней через двадцать.

Она даже не поверила себе. Долго стояла, глядя на конверт. Боялась распечатать. И ушла, не решившись прочесть. Положила письмо в карман и ушла.

Больше я ее не встречал...

СЕРЕЖКА

Сережка идет из детского сада. Идет на расстоянии от мамы. И вдруг, забежав вперед, останавливается:

— Мам!

Как о великой радости сообщает:

— А у меня на ботинке дырка!

И заглядывает в глаза, ожидая увидеть в них тоже радость. Но глаза, наоборот, становятся грустными.

«Почему? — рассуждает Сережа. — Раз эти порвались, значит, завтра пойдем покупать новые. Мама посадит меня на стульчик перед зеркалом, а тетя даст сначала один ботинок померить, потом — другой. А почему нельзя сразу два?».

— Мам!

Он дергает ее за руку:

— Почему нельзя мерить сразу два ботинка?

— Ты какие-то глупые вопросы задаешь, Сергей.

Сережка обижается и уходит вперед. Минуту задумчив. Рассуждая про себя, разводит руками и пожимает плечами: «Почему она сердится?..»

Но тут же, открыв рот, смотрит на чудную машину, потом показывает язык встречной девчонке и совсем забывает о ботинках.

ЛЕСНАЯ ТРАДИЦИЯ

Лес каждый год праздновал совершеннолетие выросших малышей. В этом году виновницами торжества были три сосенки.

Целую неделю трудились пауки, вплетая в зелень ветвей звонкую осеннюю паутину. Взрослые сосны поглядывали сверху и беспокоились: «Уж больно незаметно. Поярче бы что... Вон у рябин какие красивые листья...»

Накануне праздника лес рано затих, но не спал. Думал о завтрашнем дне. А ночью прошел тихий, теплый еще дождь. Сквозь сон сосенки подумали: «Зачем он? Сыро будет...».

Заалело утренней зарей небо. Первые лучи солнца дотронулись до зеленой хвои:

— Доброе утро! Пора просыпаться! С праздником!

И тут же понеслась по лесу сорочья стрекотня.

— Ах! Какая красота! Какая прелесть! Какая красота!

Ночной дождь подарил именинницам капли-жемчужины. Нанизал их на серебряные нити, и сосенки оделись в сверкающий наряд. Они стояли, боясь пошевелиться, торжественные и смущенные общим вниманием. Большие сосны отгоняли ветвями ветерок:

— Смотри, не задень, разбойник, не стряхни капель!

Из-под земли вылез гриб-боровик и, раздвинув шляпой мокрую траву, пробасил:

— Поздравляю!

День только начинался. И это было, конечно, не последнее поздравление. Ведь сороки полетели сзывать гостей.

ЛИСТЬЯ

Они бежали за каждой машиной, умоляя взять с собой, увезти обратно в лето.

Они трогали за руки прохожих, заглядывали в глаза, шептали под ногами — спрашивали:

— Вы не можете вернуть нас в лето?

От машин быстро отставали — разве угонишься...

А люди...

Одни, думая о своем, человеческом, проходили мимо. Другие подбирали листья, любовались ими, ставили в букеты.

...И никто не понял, о чем просили они.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

— Мама, почему Дед Мороз на окнах всегда неправдашный лес рисует?

— Знаешь, Аленка, когда-то Дед Мороз маленьким мальчиком был. И звали его Теплышко. Тогда везде такой лес рос. Много-много лет прошло с тех пор... А Дед Мороз все вспоминает те красивые деревья да травы и рисует их на окнах, чтобы не забыть. И нам показывает.

СОЛНЦЕ

Идет по улице девчонка. И день ненастный, а в глазах ее солнце сияет. Каждый посмотрит на нее — улыбнется.

— Где взяла она это солнце?

Приходила девчонка днем весенним поздороваться с лесом. Первый дождик прошел. Вон как небо промыл... Глядится она во все лужи — наглядеться не может. И траву дождь из земли выманил. А уж березки-то нарядил!..

Бежала знакомой тропой девчонка, улыбалась всему, с птицами песни пела. У березок остановилась. В тоненьких веточках радужными красками переливались миллионы капелек. Каждая капелька сама — солнце. А вместе... нанизанные на эти зеленые веточки, сияющие, окруженные голубизной воздуха, — вместе они звучали весенней симфонией радости.

Долго стояла девчонка, зачарованная музыкой красок...

Но вот одна капля вобрала в себя другую и побежала по веточке вниз. Быстро нагнувшись, девчонка поймала ее губами. Проглотила капельку живой воды, частицу солнца и весенней музыки...

Вот почему глаза ее дарят солнце всем даже в ненастную погоду.

ОБЛАКА

- Мама, посмотри на небо! Правда, интересно?
- Красивые облака...
- Да нет же! Смотри — вон горы. И окошечко. Думаешь, кто там живет? Самый главный волшебник — ветер. Он какие захочет, такие делает облака. А ночью он своих гусей выпускает гулять. Видишь, под окошком перышек они сколько потеряли? Гуси у него огромные-преогромные, белые и некусучие.
- Фантазерка ты у меня, Аленка...
- И совсем не фантазерка! А ты просто не умеешь видеть.

Знаете ли вы, что...

...2 апреля 1917 года вышла первая газета Кузбасса «Кузнецкий край». Она издавалась в г. Кузнецке. В дни колчаковщины газета была закрыта.

...с 1909 года в Кузнецке отбывал ссылку один из организаторов «Северного союза русских рабочих» Виктор Павлович Обнорский. Умер он 17 апреля 1920 года в Томской губернской больнице.

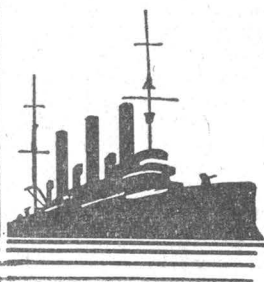
...в мае 1918 года против молодой Советской республики подняли мятеж белочехи. Впервые белочешские мятежники выступили в Мариинске 25 мая. Для вооруженного отпора белочешским мятежникам из красногвардейских отрядов Анжеро-Судженска, Тайги, Яшкина и Боготола был образован Мариинский фронт. Одним из интернациональных отрядов этого фронта командовал Матэ Залка, известный венгерский писатель.

...19 мая 1917 года в газете «Правда» была опубликована статья В. И. Ленина «Еще одно преступление капиталистов», посвященная разоблачению провокаторских действий владельца Судженских копей Михельсона.

...в мае 1923 года профсоюз Кемеровского рудника избрал В. И. Ленина почетным председателем своего президиума и выдал ему книжку члена профсоюза горнорабочих. Профсоюзная книжка, выданная В. И. Ленину, сейчас хранится в Институте марксизма-ленинизма в Москве.

...в октябре 1933 года в Новокузнецке и Прокопьевске побывала делегация антифашистов во главе с Полем Вайяном Кутюрье, одним из основателей компартии Франции, членом ее ЦК, редактором газеты «Юманисте».

К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ



В. КАДЕЙКИН

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОИСКА

В годы гражданской войны в районе Мариинской тайги большую активность проявлял партизанский отряд Пугачева. В сводках с внутреннего фронта летом и осенью 1919 года белогвардейцы ежедневно сообщали о нападениях этого отряда на волостные управы, на прииски, об убийствах кулаков и священников, выдававших революционно настроенных крестьян, о боевых операциях против отдельных воинских частей колчаковцев.

Отряд Пугачева оперировал в районе, где в октябре 1918 года произошло массовое крестьянское восстание, охватившее около 30 сел, расположенных вокруг села Чумая и потому получившее название Чумайского. Восстание оказало большое влияние на зарождение и развитие партизанского движения в Мариинском уезде. Значительная часть активных повстанцев с оружием скрылась в тайгу и составила ядро партизанского отряда. К ним присоединились односельчане, дезертировавшие из белогвардейской армии. Местные крестьяне оказывали партизанам постоянную поддержку, готовили оружие, формировали отряды, чтобы с наступлением весны 1919 года открыть боевые действия.

Газета томских кадетов «Сибирская жизнь», опасаясь массового выступления сибирских крестьян весной 1919 года, 8 февраля 1919 года требовала принятия необходимых мер «сейчас же, чтобы потом не услышать о сибирских Емельках-Пугачевых и Стеньках Разиных». А вскоре все сибирские газеты облетело известие о появлении

в Мариинской тайге сибирского Пугачева.

К весне 1919 года мелкие группы и разрозненные отряды партизан начали объединяться для совместной борьбы. В селе Чумое произошла встреча нескольких партизанских групп. Там они решили объединиться в один отряд, командование которым принял Пугачев. Он был приезжим и неизвестным для местных жителей, его рекомендовал Максим Перцев-Громов из села Шестакова как боевого и опытного командира, офицера-фронтовика старой армии. Ядро отряда составляли красногвардейцы и советские работники. Отряд совершал дерзкие налеты на волостные управы, почтово-телеграфные конторы, разрушал аппарат белогвардейской власти. На местах, сурово карал предателей. Узнав о том, что на Драге по доносу Михтюка каратели убили одного из руководителей большевистской организации кольчугинских шахтеров Д. Погребного, Пугачев повесил предателя. В июле 1919 года отряд Пугачева совершил нападение на прииски Ачинско-Мариинского горного округа. После этого белогвардейские власти всполошились. Управляющий Мариинским уездом сообщал, что 22 июля 1919 года в районе мелких приисков появился партизанский отряд, которым командует «некто, именующий себя бывшим капитаном Пугачевым, человек лет 28».

24 июля 1919 года партизаны напали на село Карачаровку, а 25 июля на село Чумай. 7 августа 1919 года партизаны повторили нападение на лесничество в селе Чумое и деревни Кураковка и Иркутянка.

Генерал-квартирмейстер чехословацких войск в Сибири Клеанда 21 августа 1919 года телеграфировал о том, что в районе Чумайское — 50 верст южнее Мариинска — появился отряд Пугачева, около 60 человек. Отряд быстро рос за счет новобранцев, отказавшихся идти в колчаковскую армию или дезертировавших из нее. В телеграмме министру внутренних дел управляющий Томской губернией доносил, что ночью на 24 августа 1919 года деревню Николаевку Верх-Чебулинской волости Мариинского уезда окружили 200 вооруженных партизан под командованием Пугачева, арестовали председателя и секретаря управы, уничтожили бумаги, собрали контрибуцию, увели 20 лошадей. До появления отряда был прислан приказ за подписью командира партизанского отряда советских войск о выдаче контрибуции в сумме 25 000 рублей.

В конце августа 1919 года в район действия отряда Пугачева пробилось несколько других партизанских отрядов, в том числе отряды В. Шевелева и К. Кузнецова. Отряды объединились под командованием Пугачева.

1 сентября 1919 года колчаковское командование доносило, что «отряд Пугачева пополнен повстанцами из Кольчугинского района и насчитывает 170 человек. Их центром является деревня Козеюль».

4 сентября 1919 года министр внутренних дел колчаковского правительства разговаривал с управляющим Томской губернии. Последний особую тревогу выражал по поводу того, что в Мариинском уезде, в районе Верх-Чебулинской волости, оперирует партизанский отряд до шестисот человек, возглавляемый Пугачевым.

В тот же день письменно сообщалось, что отряд под командой Пугачева, именуя себя капитаном, находится в районе между Чумаем и Центральным рудником, часть его направилась в приисковые районы. Против отряда направлены правительственные войска.

Вопрос об отряде Пугачева не сходил тогда со страниц газет. В сводке данных из газет на сентябрь 1919 года сообщалось: «В Мариинской тайге появился новый предводитель красных, именующий себя бывшим капитаном, некий Пугачев, отряды которого производят набеги на расположенные здесь золотые прииски, деятельность которых почти прекратилась. В двух селах убиты священники — население не оказало поддержки своему пастырю».

Командование карателей, стремясь оправдать свои неудачи в преследовании отряда Пугачева, преувеличивало численность этого отряда, но характерно признание активной поддержки отряду партизан со стороны населения.

Объединение нескольких партизанских отрядов в один под общим командованием Пугачева создавало возможность осуществления крупных операций. В. П. Шевелев пишет, что Пугачев проявил себя «хо-

рошим организатором и руководителем» Рабочий Кольчугинского рудника, участник партизанского отряда, Я. Г. Михайлов, характеризует Пугачева как одного из активных и самоотверженных командиров. «Пугачев держал в своем отряде строжайшую дисциплину, — вспоминает Михайлов. — Его боялись. Бывало, Пугачев команду подаст — тишина. Не было пьянства, разврата, отряд держал в железных рукавицах».

После объединения отрядов на совместном совещании командования было принято решение поехать к Чумаю и повести наступление на Троицкие вершины. Под командованием Пугачева партизаны разбили белых и взяли пленных из отряда, охранявшего дамбу.

В начале сентября 1919 года в Верхне-Чебулинском группа из отряда Пугачева сожгла все делопроизводство волостной управы.

Из Чумая отряд направился в Карачарово. На пути встретили крестьян, которые сообщили, что в селе Усманке карательный отряд занимается поркой крестьян. Партизаны поспешили на выручку. Разведка выяснила, что в селе около 250 человек белых при двух пулеметах.

Пугачев отвел отряд за деревню в березовую рощу и занял удобную позицию. Белые отстреливались в течение двух часов. Однако преимущество противника сказывалось. Пулеметный огонь белых поливал партизанские позиции. В этом бою отличился кольчугинский шахтер Николай Буинцев. Он с несколькими товарищами обеспечил отряду возможность в порядке выйти из боя. Отряд вплавь на лошадях перешел реку Верхнюю Чебулу и отступил в Карачарово. 9 сентября 1919 года белогвардейцы послали победную реляцию, в которой сообщалось, что «в районе дер. Усманское — 35 верст юго-западнее Мариинска — правительственным отрядом разбита банда 150 человек, часть соединенных банд Пугачева, которая осталась в районе Чумайское».

После неудачного боя под Усманкой на совещании командного состава в поселке Охотницком было решено, что Шевелев с частью партизан отправится в район реки Томи для объединения мелких отрядов. Для связи между отрядами и как символ взаимного доверия в отряде Пугачева остался Н. Буинцев, со своей стороны Пугачев откомандировал в отряд Д. Н. Шевелева Мальцева-Березина. Отряд Шевелева двинулся к реке Томи, в район Крапивина. Группа партизан под командованием К. Кузнецова (Хмелева) направилась в район железнодорожной магистрали на соединение с отрядом Лубкова.

Отряд Пугачева выступил в поход по направлению к селу Тисулю, где хранились необходимые для предстоящего зимнего периода солидные запасы, охраняемые довольно крупным гарнизоном белых.

22 сентября 1919 года отряд Пугачева захватил Центральный рудник. Взято семь лошадей с упряжкой, захвачены материалы и инструменты. Командир отряда оставил письменное требование к администрации уплатить контрибуцию, пригрозив в противном случае все имущество обоих станом акционерного общества предать огню.

Вскоре после этого газета «Сибирская речь» опубликовала корреспонденцию под выразительным заголовком «Новый Пугачев». В ней сообщалось, что он «на днях вновь напал на Тисуль, разграблено волостное правление, захвачено около 300 паспортов, дома некоторых жителей сожжены».

Наступила осень 1919 года. Колчаковское командование бросило все свои резервы для того, чтобы остановить наступление Красной Армии. На рубеже реки Тобола Красная Армия вела тяжелые бои против колчаковских войск. В связи с неудачами, на фронте и приближением зимы в холодные и дождливые дни сентября 1919 года в партизанском отряде Пугачева встал вопрос о планах дальнейшей борьбы.

На этой почве возникли разногласия. Одни говорили, что к зиме надо разойтись, другие предлагали пробиваться в Монголию, третьи — соединиться с большим отрядом и пробить фронт для соединения с российскими большевиками.

Следует отметить, что планы дальнейшей борьбы осенью 1919 года обсуждались и в других отрядах. Именно в это время отряд М. Х. Перевалова решил пробиваться на соединение с советскими войсками северным путем через Туруханск и осуществил этот план. Другой крупный отряд, возглавляемый В. П. Шевелевым, предпринял попытку соединиться с партизанской армией Щеткина и Кравченко, но встретив на границе Томской и Енисейской губерний крупные соединения белогвардейских войск, вынужден был отойти в глубь тайги к приискам Главному. Троицкие вершины и Рождественскому. Шевелев пишет, что в его отряде часть партизан выражала недовольство планом, предусматривавшим длительные передвижения, уход из своих мест. Таких малодушных людей пришлось разоружать и распустить. В отряде Пугачева значительную часть составляли местные жители, не желавшие уходить от родных мест и бросать хозяйство и семьи. Воспользовавшись сложным положением и возникшими разногласиями, подняли голову эсеров-анархистские элементы. Они выражали недовольство твердой дисциплиной, установленной в отряде, пьянствовали, выступали против классового принципа взимания контрибуции, при котором вся тяжесть налога возлагалась на кулаков и торговцев. В селе Шестакове обложению подвергся крупный торговец Петин, родственники которого оказались в партизанском отряде и были обижены неласковым обращением Пугачева с их дядюшкой, отказавшимся добровольно вносить контри-

буцию на содержание партизанского отряда.

Анархисты были недовольны и тем, что им выдаются деньги лишь для необходимых расходов, требовали права грабить местное население, производить раздел сумм, полученных под расписку командиром отряда на общие нужды отряда. А когда Пугачев отказался производить раздел, стали распространять слухи, что он хочет присвоить эти средства и скрыться. Неудачный бой у села Усманки они представляли как результат трусости и предательства Пугачева, вспомнили, что он старый офицер и высказывали гнусные предположения о том, что не подослан ли он колчаковцами.

Провокационная деятельность эсеров-анархистствующих элементов оказывала разлагающее влияние на партизанские отряды. Состав партизанских отрядов в Сибири был неоднородным. Наряду с крепким пролетарским ядром, состоявшим из рабочих, солдат-фронтовиков и работников первых Советов из крестьянской бедноты, в ряде отрядов значительную часть — особенно на последнем этапе борьбы — составляли зажиточные крестьяне, обиженные поборами и экзекуциями карательных отрядов, а также разлагающиеся деклассированные и анархистствующие элементы. В отрядах шла непрерывная, порой принимавшая ожесточенные формы идейная борьба, отражавшая классовые интересы различных социальных групп, составлявших такие отряды. Наиболее сильным было влияние эсеров и анархистов в отрядах Лубкова и Рогова. На Тасеевском фронте эсеров-анархистствующим элементам удалось дискредитировать командующего партизанской армией большевика Ф. Астафьева. Эсеры и анархисты, пробравшиеся в партизанскую армию, дважды стреляли в большевика В. Яковенко, председателя армейского Совета, но были разоблачены и обезврежены. В отряде Пугачева эсеров-анархистствующие элементы сколотили тайную группу. Некоторые партизаны, не разделявшие взглядов анархистов, поддались их влиянию, поверили слухам о намерении штаба скрыться и увезти с собой ценности. В такой обстановке, без суда и следствия был убит Пугачев из-за угла в отсутствии основной массы партизан. Этой же участи чуть не подвергся и кольчугинский шахтер Н. Буинцев.

Винновники гибели Пугачева, чтобы оправдать свои действия, распространяли затем слухи о том, что на следующий день после гибели Пугачева, село заняли каратели и первым делом спросили, где Пугачев? Это, якобы, доказывало, что Пугачев — свой человек для колчаковцев. Между тем с самого начала действия отряда Пугачева колчаковцы охотились за ним, посылали карательные экспедиции, писали в газетах о нападениях, и не удивительно, что, заняв село, они спрашивали, где Пугачев. Пугачев был захоронен партизанами

около деревни Казанки, на двадцатом километре Марининского тракта, в тайге. Хоронили спешно, потому что ожидали наступления белых.

После гибели командира партизанский отряд Пугачева раскололся. Многие партизаны, не поверившие необоснованным подозрениям, были возмущены самосудом. Известные командиры партизанских отрядов Корнил Хмелев, Тимофей Путилов, Василий Шевелев решительно осуждали виновников гибели Пугачева. Партизанские отряды, возглавляемые этими командирами, объединились и сражались против колчаковцев до самого прихода Красной Армии. Они составили ядро Первой Томской партизанской дивизии, созданной в ходе массового крестьянского восстания в декабре 1919 года.

Небольшая группа, организовавшаяся вокруг В. И. Кузнецова-Железного, отказалась объединиться с отрядом Шевелева и осталась действовать самостоятельно.

В конце декабря 1919 года на территорию Марининского уезда вступили части Красной Армии. Вопрос о гибели командира партизанского отряда Пугачева в январе 1920 года рассматривался особым отделом 27-й дивизии Пятой Красной Армии, вступившей в Томск и Мариинск. Это было время, когда еще продолжались бои, значительная часть территории Сибири оставалась занятой колчаковцами, и проверить сведения о Пугачеве не представлялось возможным. К тому же некоторые люди, повинные в гибели Пугачева, искренне полагавшие, что имели дело с подосланным колчаковцами офицером, продолжали в рядах Красной Армии громить врага вначале в Сибири, а затем и на Врангелевском фронте.

Дело о виновниках гибели Пугачева тогда было прекращено. Как сообщают З. Ф. Азевич, Косяков, Д. Н. Мальцев-Березин, останки Пугачева в 1920 году были перенесены в Мариинск и в торжественной обстановке похоронены на центральной площади. В докладе представителя Западно-Сибирского центра подпольной большевистской организации Сибирскому бюро ЦК РКП(б) после освобождения Сибири в ноябре 1919 года при характеристике революционного движения наряду с такими крупными и хорошо известными партизанскими отрядами, как Щетинина, Кравченко, Лубкова, называется отряд Пугача.

Казалось бы, доброе имя одного из видных руководителей партизанского движения в Кузбассе было восстановлено. Однако этого не произошло. Прошло почти 45 лет с того времени, как прекратились боевые операции на территории Кузбасса, но до сих пор среди историков не утихают страсти вокруг имени Пугачева.

И дело не только в том, что люди, повинные в гибели Пугачева, оправдывая свои действия, использовали тот факт, что Пугачев был неизвестным штабс-капитаном.

Среди участников событий мнения о Пугачеве прямо противоположные. В. П. Шевелев, Н. В. Буинцев называли Пугачева хорошим организатором и руководителем. Я. Г. Михайлов, З. Ф. Азевич, Д. Н. Мальцев-Березин и многие другие подтверждают эту характеристику. В то же время до сих пор нередко встречаются люди, которые незнакомы с результатами проводившихся расследований и свое мнение о Пугачеве основывают на том, что слышали они в 1919 году об обстоятельствах его гибели.

Что касается исторической литературы, то в ней версия о застреленном белыми офицере не получила хождения, но зато укоренилось ошибочное утверждение о том, что Пугачев — это бывший председатель Совета рабочих и солдатских депутатов в г. Свободном на Амуре Попов Владимир Васильевич, старый большевик. Об этом определенно написано в воспоминаниях члена Дальсовнаркома П. Ф. Федорца, в IV томе «Истории гражданской войны в СССР», сборнике документов «Борьба за власть Советов в Томской губернии».

Эта версия является ошибочной потому, что В. В. Попов погиб в ноябре 1918 года близ Олекминска с группой руководящих работников ЦИК Советов Сибири. Об этом имеются невызывающие сомнений подтверждения. На месте его гибели после освобождения Сибири воздвигнут памятник, на котором высечено имя В. В. Попова.

Этот факт использовался некоторыми товарищами, которые подозревали Пугачева в том, что он — подосланный колчаковцами офицер. Может быть, говорили они, после гибели Попова около Олекминска кто-то другой, враг, взял имя славного большевика для прикрытия коварных целей.

Так кто же такой Пугачев, что действовал под этой кличкой в партизанском движении в Сибири?

С 1959 года я начал внимательно изучать все, что связано с деятельностью Пугачева в Кузбассе.

Прошедшие 45 лет отнюдь не облегчают выяснение истины, связанной с его именем. Тех немногих, которые лично хорошо знали Пугачева и могли бы внести ясность в эти вопросы, давно уже нет в живых, в том числе командира Первой Томской партизанской дивизии В. П. Шевелева, М. Перцева-Громова, кольчугинского шахтера Н. В. Буинцева. Для местных жителей это был человек неизвестный, приезжий. Сведения о Пугачеве пришлось собирать по крупицам. Беседовал я в Кузбассе, Томске, Москве, Чите с большой группой участников революционной борьбы, делал запросы в города Благовещенск, Свободный, Ленинград, Краснодар, изучал архивные документы в Томске, Новосибирске, Иркутске, Чите, Москве. И хотя некоторые детали из жизни Пугачева остаются еще неясными, а отдельные моменты вообще невоз-

можно установить, собран обширный материал, проливающий свет на основные вопросы деятельности партизанского отряда Пугачева и его командира.

Материалы колчаковской контрразведки и особенно штаба Иркутского военного округа и Томской губернии показывали, что Пугачев для белых был явно «чужим» и причинял им много беспокойств. Против него посылали карательные отряды, но благодаря поддержке местного населения партизаны уходили от опасности.

Обращало внимание и то, что В. П. Шевелев и участник партизанского отряда Пугачева В. И. Кузнецов-Железный называют Пугачева Евгением, в то время как председателя Свободненского Совета Попова звали Владимиром. Но это могло ничего не значить, ибо в подполье работники меняли не только фамилию, но и имя. В документах Пугачева могло быть названо имя Евгений. Весь вопрос в том, подлинное ли это имя или подпольная кличка. Шевелев указывал, что в беседе с ним Пугачев сообщил ему, что настоящая фамилия его Попов, что он забайкальский казак, ротмистр казачьих войск, бывший председатель Читинского областного Совета. Но что это? Может быть, «шутки памяти»? Ведь областной Совет, находившийся в Чите, назывался Забайкальским, а его председателем с начала создания и до контрреволюционного мятежа, до августа 1918 г., был И. А. Бутин, замученный позднее семеновскими бандами в Маковеевском застенке в июле 1919 года. Среди членов исполкома Забайкальского Совета Попова тоже нет.

В 1962 году я несколько месяцев работал в Москве, в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина. Здесь хранится богатейшая коллекция газет, издававшихся в разных городах страны и в разные годы. В библиотеке имеются полные комплекты до-революционных газет, но в годы революции и гражданской войны, особенно на территории, временно захваченной белогвардейцами и интервентами, газеты полностью сохранить не удалось. В частности газета «Забайкальский рабочий» за 1917—1918 годы сохранилась лишь в виде отдельных номеров.

В номере за 27 ноября 1917 года опубликовано сообщение из штаба Кавказской армии о том, что Жигалин, прапорщик Попов и другие в составе второй отдельной Забайкальской бригады ведут «вредную деятельность», которая выражалась в отказе признавать старое реакционное командование и требовании создания выборных комитетов. Забайкальский областной Совет сельских депутатов ответил штабу, что «означенные офицеры всегда стояли на страже революции и стойко отстаивали интересы трудового казачества». Совет выразил решительный протест против преследования Жигалина, Попова и других революционно настроенных офицеров и призвал местные

и фронтовые казачьи части поддержать протест.

Попов — фамилия довольно распространенная, к тому же в этом газетном сообщении с Кавказа нет имени. Важно было узнать, какова дальнейшая судьба прапорщика Попова после того, когда в январе 1918 года казачьи части вернулись с Кавказского фронта в Забайкалье. Я написал в г. Читу, в краеведческий музей и партийный архив обкома КПСС просьбу сообщить, что им известно о прапорщике Попове и не был ли Попов председателем, если не областного, то городского или Дальневосточного Совета. Вскоре получил сообщение, в котором зав. партиархивом, сам активный участник революционных событий в Забайкалье, Д. Ф. Агафонцев, сообщил, что им известно по меньшей мере о пяти Поповых, но ни один из них не был председателем. Впрочем, председатели городского Совета менялись тогда почти ежемесячно.

Казалось, что читинский вариант отпадает. Оставалось еще обратиться к памяти Я. П. Жигалина, проживающего в Ленинграде, он должен знать прапорщика Попова, ведь по одному делу с ним он проходил в Кавказской армии. Я написал письмо Я. П. Жигалину и почти одновременно нашел в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС его воспоминания, написанные еще в 30-х годах. Яков Петрович пишет, что после возвращения казачьих частей в г. Читу председателем местного городского Совета непродолжительное время был Попов. Однако, тот ли это прапорщик с Кавказского фронта? Имя не указывается. В Москве проживает Б. Г. Жданов, работавший в 1918 году председателем Читинского городского Совета, но встретиться мне с ним не удалось, он был болен. Я попросил товарищей, как только Борис Глебович почувствует себя лучше, побеседовать с ним по вопросу о Попове. Он подтвердил, что Попов был председателем исполкома городского Совета в г. Чите в марте 1918 года, имя его не помнит, тогда по имени и отчеству не принято было называть, обращались друг к другу со словом «товарищ». Куда исчез Попов позже — неизвестно.

В Центральном партийном архиве ИМЛ хранятся воспоминания двух других видных деятелей казачьих революционных войск в Забайкалье С. С. Киргизова и Д. С. Шилова. И тот и другой пишут о Попове, возглавлявшем исполком городского Совета в Чите некоторое время весной 1918 года.

В библиотеке имени В. И. Ленина имеется обширная литература по истории революции и гражданской войны в Забайкалье. Оказалось, что руководитель Забайкальского областного комитета РСДРП(б) В. Н. Соколов в 1922 году в журнале «Пролетарская революция» называл председателем исполкома городского Совета в г. Чи-

те Попова, который «по слухам, находился позднее в партизанской армии Кравченко».

О Попове — председателе исполкома Читинского городского Совета — упоминается также в двух сборниках воспоминаний, изданных в Чите: «Партизаны» (1929) и «Красногвардейцы и партизаны» (1957). При этом во всех случаях Попов связывается с М. Яньковым, военным комиссаром Забайкальской области и М. Перцевым, рабочим читинских железнодорожных мастерских.

Как видно, во многих воспоминаниях определенно утверждается, что весной 1918 года в Чите председателем исполкома городского Совета некоторое время был Попов.

Где же ошибка?! В сообщении Читинского парторгана или в памяти Я. П. Жигалина, Б. Г. Жданова, Д. С. Шилова, С. С. Киргизова? И потом совершенно не ясно: если даже председателем горсовета в Чите был Попов, то одно ли это лицо с прапорщиком Поповым, а во-вторых, где же та ниточка, которая связывала бы Попова — председателя Читинского Совета — с Поповым, возглавившим позднее партизанский отряд в Кузбассе, за две тысячи километров от Забайкалья? Требовалось, кроме предположений, найти определенное и убедительное подтверждение этой связи, если она, конечно, существовала. И потом, почему В. Н. Соколов говорит, что Попов был в армии Кравченко, действовавшей не в Кузбассе, а в Енисейской губернии, правда, соседней, не удастся ли найти какие-либо концы через родственников М. Янькова и М. Перцева?

До сих пор приходилось работать над воспоминаниями, а это такой источник, который при всей его ценности оказывается часто недостаточным для полного и точного освещения вопроса, нуждается в подтверждениях архивных документов, которые не носили бы следа времени и субъективности.

Дальнейшие поиски привели меня в г. Иркутск, библиотеку Иркутского университета и местные архивы этого старинного сибирского города, некогда бывшего административным центром Восточной Сибири. Листаю старые, пожелтевшие от времени газеты...

В газете «Забайкальский рабочий» за 10 марта 1918 года опубликовано решение исполкома Читинского городского Совета. Под ним подпись: «председатель Попов». В газете «Власть труда» опубликованы два отчета с заседаний ЦИК Советов Сибири от 22 марта 1918 года и 28 марта 1918 года, на которых речь идет о читинских делах, с докладом выступает М. Яньков, называется Попов — председатель Совета. В первой книге сборника «Дальистпарта», изданной в 1928 году, опубликовано донесение начальника белогвардейской милиции г. Читы о скрывшихся членах революционного штаба, «в состав которого входили прапорщик Попов, некий Перцев и известный пре-

ступник, казак Яньков, в руках которого была вся полнота власти».

Итак, впервые появляется сообщение, что Попов — председатель исполкома Читинского Совета — был прапорщиком. Выходит, что и на Кавказском фронте, и в Читинском городском Совете, и в партизанском отряде в Кузбассе речь идет о забайкальском казаке, прапорщике Попове. Правда, имя его оставалось пока неизвестным.

В партийном архиве Иркутской области хранится список заключенных Читинской тюрьмы, замученных семеновцами в застенках. Среди них М. Яньков. Возникает вопрос: если Яньков, Попов и Перцев скрывались вместе, то где и при каких обстоятельствах Яньков был схвачен колчаковской охранкой и не имеет ли это отношения к прапорщику Попову. Для выяснения этих вопросов надо ехать в г. Читы.

В Забайкалье все напоминает о героических делах мужественных людей, издавна населявших этот романтический край. В Читинском партийном архиве Д. Ф. Агафонцев собрал обширную коллекцию материалов об участниках революции и гражданской войны.

С большим вниманием отнеслись краеведы и историки Читы к тем вопросам, с которыми я приехал. Кандидат исторических наук Г. В. Грунин, возглавляющий совпартшколу Читинского обкома КПСС, старый коммунист, зав. парторгивом Д. Ф. Агафонцев, научный сотрудник архива В. Ф. Митрофанов, преподаватель истории А. Васильевский, участник революционного движения М. З. Ушаков и другие оказали мне помощь в поисках, познакомили со старожилами, рассказали о тех работах, которые проводились ранее.

В Государственном архиве Читинской области мне удалось обнаружить распоряжение горсовета, подписанное лично Поповым 12 марта 1918 года. В газете «Забайкальский рабочий» за 25 апреля 1918 года, хранящейся в этом архиве, наконец, впервые находим точное сообщение о том, что председателем исполкома Читинского городского Совета был прапорщик Попов Евгений Петрович. Правда, боевой прапорщик оказался неудачным председателем, но это уже другой вопрос. Теперь становится более обоснованным предположение о том, что Пугачев, командовавший партизанским отрядом в Кузбассе, не Попов В. В. из г. Свободного, а Попов Евгений Петрович из Читы. Вся трудность состояла в том, чтобы доказать, что прапорщик Е. П. Попов из Читы и прапорщик Е. Попов-Пугачев в Томской губернии в Кузбассе — это одно и то же лицо.

При изучении дела М. Янькова в Читинской тюрьме бросается в глаза одна деталь: Яньков Михаил Петрович был арестован колчаковской охранкой 30 января 1919 года в г. Томске с документами на имя Янько Михаила Васильевича по обвинению

в службе большевистским комиссаром в г. Чите. Из дела видно, что во время обязательной мобилизации всех старых офицеров в белогвардейскую армию он был призван и с 29 июля 1918 года находился в Томском гарнизоне.

Нам ничего не известно о деятельности М. Янькова в томском гарнизоне до момента его ареста томским отделением военного контроля, но сам арест его колчаковцами, а затем и казнь говорят о многом.

Неизвестно также и то, был ли мобилизован в белогвардейскую армию скрывавшийся вместе с Яньковым прапорщик Е. П. Попов, но именно вскоре после ареста М. Янькова в Томской губернии в районе, где недавно вспыхнуло Чумайское восстание, и появился Пугачев, создавший партизанский отряд из местных жителей, имевший боевую выправку, не скрывавший, что является старым офицером.

Но как оказались М. Яньков и Е. Попов в Томской губернии? И хотя война есть война, а тем более гражданская, и в такой войне всякое бывает, ибо все население приведено в движение, происходит непрерывное перемещение людей, вынужденных бросать насиженные места, чтобы скрыться от преследований противника, все же надо было найти ту нить, которая привела Попова в Кузбасс. В Чите это сделать не удалось, и я вернулся в Кемерово. В институте рассказал об итогах поездки в Иркутск и Читу, о поисках родственников Попова и Перцева. Присутствовавший при этом профессор В. Г. Кожевни любезно обещал познакомить меня с одним товарищем, который, родом из Забайкалья, участвовал в боях на Семеновском фронте, но давно уже выехал оттуда, долго работал в комбинате Кузбассуголь и теперь вышел на пенсию. Фамилия его Перцев Илья Яковлевич. На сборы участников революции в Кузбассе он не ходит, ибо рассказать об этом ничего не может, так как находился в это время в Чите, а по Забайкалью он в курсе дел.

Вскоре такая беседа состоялась. И. Я.

Перцев оказался родным братом Максима Перцева, работавшего в Читинских железнодорожных мастерских и являвшегося там членом революционного штаба. Это он, по сообщению семеновской милиции, вместе с Яньковым и Поповым скрылся. В селе Шестакове Мариинского уезда Томской губернии проживали родственники Перцевых, в том числе родная бабушка Зырянова, у которой, не вызывая подозрений, могли находиться прибывшие из Забайкалья «внуки», приглядеться к местному населению и начать активные действия.

Здесь, в Шестакове, Илья Яковлевич, прибывший из Читы несколько позже М. Перцева и Попова, неоднократно встречался со своим старшим братом Максимом, который рассказывал ему о себе и своем друге Евгении Петровиче Попове. Максим Перцев под фамилией Громова находился в партизанском отряде, которым командовал в начале Е. Попов, взявший кличку Пугачев, а после его гибели М. Перцев-Громов ушел в отряд В. П. Шевелева и боролся там до полного освобождения Кузбасса от колчаковцев.

Произведенные поиски не оставляют сомнений в том, что Пугачев, командовавший партизанским отрядом в Кузбассе, это и есть бывший председатель Читинского горсовета, прапорщик Е. П. Попов. Однако точку ставить еще рано. Чтобы до конца устранить наслоения прошлых лет, надо продолжать поиски, уточнить факты, связанные с деятельностью одного из наиболее крупных и активных партизанских отрядов, оперировавших в Кузбассе. До сих пор не удалось обнаружить фото Попова-Пугачева, ничего не известно о его родственниках, крайне скупы сведения о времени его появления в Кузбассе. Противоречивы сообщения о дате гибели. Нужно искать и искать. Ведь все, что связано с борьбой за власть Советов, необычайно дорого для нашего народа, готовящегося к 50-летию великой революции.

А. МАЗЮКОВ.

ГЕРОЙ ПОЭМЫ — КОЛЬЧУГИНСКИЙ ШАХТЕР

В марте 1917 года на старейшем угольном руднике Кузбасса — Кольчугинском взвился красный флаг Советов.

Для охраны порядка на руднике Совет рабочих и солдатских депутатов создал Красную гвардию. В числе первых в нее вступил рабочий шахты «Капитальная» (ныне шахта имени Ем. Ярославского) Семен Ильич Проскаков (во многих документах он значится и как Проскоков), с именем которого связаны многие страницы революционной борьбы кольчугинских шахтеров за власть Советов.

Документы о революционных событиях на Кольчугинском руднике попали в архивы.

Архивные материалы привлекли внимание советского поэта Николая Асеева. На общем фоне революционных событий и партизанского движения в Кузбассе поэту приглянулась фигура рядового шахтера, коммуниста Семена Ильича Проскакова. Он решил написать о нем и его друзьях. Но одних архивных документов было мало. В 1927 году поэт приехал в Ленинск-Кузнецкий, познакомился с шахтерским рудником, побывал на месте массового расстрела участников Мартовского восстания.

В 1928 году в Москве отдельным изданием вышла поэма Николая Асеева «Семен Проскаков». Свою новую работу поэт посвятил 10-летию Октября. Рассказывают, что первым читателем поэмы был Владимир Маяковский. Он дал высокую оценку поэме, которая начиналась так:

В тысячах повторенный
имен,
Из-под глухого
земного покрова
Я, партизан
Проскаков Семен,
Жить начинаю
снова и снова...
Я проработал
семнадцать лет
На рудниках
и на шахтах Сибири...

...С. И. Проскаков — коренной сибиряк. Он родился в 1877 году на руднике Салаир. Отец его, рабочий Салаирского рудника,

ранее отбывал здесь политическую ссылку.

Салаирский рудник в предреволюционные годы принадлежал акционерному обществу Копикуз. Управители его в погоне за прибылями не думали о поддержании сколько-нибудь сносных условий труда и быта горнорабочих и их семей. Хищнически относились к владельцу Копикуза и к природе.

Салаир издавна славился своим сосновым бором, окаймлявшим поселок. Но вот копикузовцы начали его варварски уничтожать. Прекрасный лес вырубали на шпалы для Кольчугинской железнодорожной ветки, для шахтной крепи.

Честный и прямой молодой рабочий Семен Проскаков однажды высказал свое возмущение. После этого Проскакову пришлось уйти с рудника, хотя работу тогда трудно было найти. Ему ничего не оставалось, как наняться в батраки к зажиточным крестьянам. Так он оказался в деревне Мохово, невдалеке от шахтерского рудника Кольчугина. Здесь Семен познакомился с крестьянской девушкой Татьяной и женился на ней. Пожив немного в деревне, молодые решили переехать на рудник. Семену удалось устроиться на шахту. К землянкам и приземистым избушкам кольчугинских шахтеров прибавилась избенка Семена Проскакова.

Тяжелой каторгой была жизнь дореволюционного горняка. Зарабатывал он мало, по всякому пустяку его штрафовали. Работа в сыром подземелье подрывала здоровье. За каждым шагом шахтера следили агенты Копикуза, жандармы.

...Грянула Февральская революция. Свобода и освобождение, которые она принесла, были неполными. В Советах большое влияние имели меньшевики и эсеры — прислужники буржуазии. Были они и на Кольчугинском руднике. Но большевики Кольчугина с первых дней революции сумели овладеть массами рабочих и оказывали на все события здесь решающее влияние.

В сентябре 1917 года в Кольчугине создается большевистская партийная организация. В нее вступают передовые, наиболее сознательные рабочие — шахтеры. Среди них мы видим и Семена Ильича Проскакова.

Мировая реакция в те дни спровоцировала выступление чехословацкого корпуса, которому Советское правительство разрешило уехать на родину через Дальний Восток.

Войска чехословацкого корпуса, раставившиеся от Пензы до Владивостока, в мае 1918 года одновременно во многих городах (вдоль железной дороги) подняли мятеж, разогнали там местные Советы.

Тогда же начались контрреволюционные выступления белогвардейских элементов в ряде мест Кузбасса.

Части Красной гвардии Кольчугинского рудника пришлось срочно выступить для подавления кулацкого заговора в селе Брюханове (ныне село Красное Ленинск-Кузнецкого района). В этой группе красногвардейцев был и Семен Проскаков.

Реакция временно победила. Красногвардейцы Кольчугина во главе со своим прославленным командиром Петром Суховым двинулись на Барнаул.

Начался изумительный рейд суховского отряда по Алтаю. Окруженный со всех сторон белогвардейцами, отряд Петра Сухова с боями пытался прорваться в Туркестан на соединение с Красной Армией. Однако вырваться из вражеского окружения не удалось. Отряд Сухова вынужден был уйти в Горный Алтай. Здесь, в районе деревни Тюнгур, состоялся последний бой. Видя, что отряд погибает, П. Сухов приказал красногвардейцам выходить из окружения поодиночке. Пятерым красногвардейцам-коммунистам, в том числе и Семену Проскакову, командир отряда приказал спрятать все оружие, чтобы оно не досталось противнику. Оружие закопали в землю, думали, что потом его красные быстро найдут. Командир красногвардейского отряда П. Ф. Сухов был пойман и после нечеловеческих издевательств расстрелян. Среди немногих, кому удалось уйти от палачей, был Семен Проскаков. В конце 1918 года он пробрался в Кольчугино.

...В ночь на 18 ноября 1918 года адмирал Колчак совершил государственный переворот. Разогнав эсеро-меньшевистскую директорию, он возглавил установленную им военную диктатуру.

Шахтеры Кольчугина ненавидели колчаковщину. Они боролись с ней как могли. На руднике действовал большевистский подпольный комитет.

Вернувшись с Алтая, Семен Проскаков вскоре устанавливает связь с подпольщиками-большевиками. От Семена Проскакова они узнали о славных боевых делах красногвардейцев-суховцев, о трагической гибели ее командира П. Сухова и многих красногвардейцев, шахтеров рудника.

Кольчугинский подпольный комитет готовил восстание против колчаковцев. Семен Проскаков был членом одной из многочисленных «пятерок».

Восстание началось в ночь на 25 марта 1919 года. Вначале все шло хорошо. Офице-

ры колчаковского гарнизона были обезврежены, часть солдат перешла на сторону повстанцев (всего в гарнизоне было около 150 солдат, 16 офицеров). На второй день восстания на руднике был избран Совет рабочих депутатов. Однако восстание успеха не имело. Оно было недостаточно подготовлено и вскоре разгромлено.

Утром 27 марта в Кольчугино прибыл большой карательный отряд. Началась зверская расправа. Более 500 шахтеров рудника было расстреляно.

...В день восстания Семена Проскакова в Кольчугине не было. По поручению подпольного комитета он выезжал в деревню Мереть. Узнав о восстании и его провале, Семен решил скрыться. Из Мерети он подался в Мохово, к родственникам своей жены. Сельский староста и писарь арестовали «неизвестного» и доставили в Кольчугино, в охранку.

Здесь Проскакова всячески пытали: кололи шилом пятки, втыкали иглы под ногти, били по голове чем попало. От него требовали выдать членов подпольной организации. Арестованный мужественно переносил все и молчал.

Арестанту объявили, что его повезут в Томскую тюрьму. Один охранник, сочувствовавший большевикам, успел шепнуть ему, что его повезут не в Томск, а на расстрел и что в пролетке под сиденьем кайла...

По дороге к станции Проскакову приказали сойти с пролетки и встать к березе. Миг, и шахтерская кайла оглушила колчаковца, а Семен побежал. Но колчаковец быстро очнулся, выхватил наган и открыл стрельбу. Пуля попала в лопатку бегущему, он упал. Колчаковец догнал его, выстрелил в голову. Не попал. Но беглец не шевелился. «Мертв», — подумал колчаковец и повернул назад. А «убитый», собрав последние силы, воспользовавшись темнотой, сумел добраться до деревни Мереть. Здесь его выходили. Жене Проскакова — Татьяне Ефимовне, каратели, озверев, выбили глаз. Сожгли избу...

...Когда шахтер-большевик поправился, он разыскал партизанский отряд и вместе с ним до конца сражался с колчаковцами.

Колчаковщина рухнула. Вернулись с победой шахтеры на свой рудник. Советская власть теперь уже навсегда победила во всем Кузбассе. Вернулся на рудник и Семен Проскаков. Он снова в первых рядах Кольчугинской большевистской партийной организации.

Проскаков был в числе тринадцати наиболее активных борцов за установление Советской власти в Кузбассе, которых Кузнецкий окружком ВКП(б) в 10-летнюю годовщину Красной Армии представил к правительственной награде. В материале о награждении Проскаков характеризуется так:

«Рабочий, участник Мартовского восстания, перенес пытки и издевательства со стороны колчаковских карателей, принимал

участие в партизанском отряде Ролико-Виноградова».

В 1936 году общественные организации Западной Сибири организовали экспедицию по местам боев отряда Петра Сухова. Проводником экспедиции пригласили Семена Проскакова. Участники экспедиции нашли могилу отважного предводителя кольчугинских красногвардейцев. Привели ее в поря-

док. Местные власти соорудили над ней памятник. Однако спрятанного в 1918 году оружия найти не удалось. Так и хранит земля грозное оружие славных красногвардейцев-суховцев.

Герой поэмы Николая Асеева — Семен Ильич Проскаков — умер в 1941 году, незадолго до Великой Отечественной войны.

МЕДСЕСТРА ИЗ ЛЕГЕНДЫ

В мае 1943 года во фронтовой газете «Вперед, на врага!» было опубликовано письмо, адресованное воинам 1-го Прибалтийского фронта:

«Дорогие мои!

Пусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Его пишет человек, которого гитлеровцы лишили всего: счастья, здоровья, молодости. Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу, прикованная к госпитальной койке. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это сделали фашисты...

...Это письмо я пишу обрубок правой руки, которая отрезана выше локтя. Мне сделали протезы и, может быть, я научусь ходить.

Милые вы мои! Если бы я имела возможность хотя бы на один день вновь оказаться в родном полку, хотя бы еще раз взять в руки автомат, чтобы расквитаться с фашистами за кровь, за муки, за мою исковерканную жизнь! Я бы все отдала за эту возможность. Но осталось только молодое сердце, полное ненависти к гитлеровской Германии.

И вот я, русская девушка, прошу вас, мои родные, когда пойдете в атаку, вспомните обо мне! Вспомните и не щадите проклятых захватчиков! Истребляйте их, как бешеных псов! Отомстите за меня, за сотни тысяч русских невольниц, угнанных в рабство. И пусть каждая девичья гордая слеза, как капля расплавленного свинца, испепелит фашиста!

...Русские люди! Солдаты! Я была вашим товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь я не могу больше сражаться. И я прошу вас: отомстите! Отомстите за меня, за мой родной Полоцк. Быстрее гоните фашистскую мразь на запад! Отомстите за всех, кому гитлеровцы принесли горе и муки! За нашу истерзанную землю, за нашу растоптанную молодость, за пепел сельских пожарищ, за руины городов!».

Письмо Зины запало в душу воинов. Его читали в окопах, в блиндажах, на аэродромах и в землянках. В редакцию фронтовой газеты посыпались письма-отклики.

Зина — наша землячка. В 1934 году она вместе с родителями переехала из Белоруссии в Сибирь. В совхозе имени Чкалова Ленинск-Кузнецкого района прошли первые ее сибирские годы. Здесь в Новопокосьмин-

ской школе она училась, стала пионеркой и в 1937 году окончила семь классов.

Обстоятельства сложились так, что Зина дальше учиться не могла. Семья осталась без отца.

Семья переехала в Ленинск-Кузнецкий. Здесь Зина поступила на работу младшим лаборантом химлаборатории треста Ленинуголь. В 1939 году Зина вступила в комсомол и через год уже возглавила комсомольскую организацию треста.

22 июня 1941 года страшная весть обрушилась на головы людей: война!

В горком партии, в городской комитет комсомола и в горвоенкомат посыпались заявления добровольцев с просьбой призвать в Армию, отправить на фронт. В первые же десять дней войны поступило 749 таких заявлений. В том числе 178 — от коммунистов, 230 — от комсомольцев.

Зина тоже всей душой хотела сражаться за Родину. Как-то вечером после работы она написала заявление и утром отправилась в горвоенкомат. Здесь было много народу. Среди них Зина заметила девушку, которая тоже ожидала приема к военкому. Познакомились. Договорились к военкому зайти сразу вдвоем. Показали друг другу свои заявления. Усталый, невыспавшийся майор Курочкин принял девушек сухо.

— Куда же я вас отправлю? У вас нет военной специальности. Вот учитесь военно-санитарному делу, тогда посмотрим...

Ничего не поделаешь. Военком прав. Надо ждать, терпеть, учиться. Готовить себя к борьбе с сильным и коварным врагом.

Весной 1942 года Зина добровольно вступила в армию. После непродолжительной военной и специальной подготовки ее часть отправилась на фронт. Зина была назначена санинструктором седьмого батальона 849-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии.

Маленькая эта должность — санинструктор в роте. Но заботы много и в дни, когда нет боев. Надо научить весь личный состав оказывать первую помощь, проследить, чтобы у всех были индивидуальные пакеты, чтобы люди умели ими пользоваться. Война войной, а личная гигиена должна быть на высоте. За всем этим тщательно следила Зина. Смелую и самоотверженную де-



*Зинаида Михайловна с сыном Володией.
Снимок 1958 года*

вушку в роте знали хорошо, уважали, ценили. Вместе со всеми она делила тяготы фронтовой жизни. В конце 1942 года Зина стала членом партии.

2 февраля 1943 года часть, в которой служила Зина, вела тяжелые бои под станцией Горшечная Курской области. Небольшая эта станция была значительным стратегическим пунктом.

Одного за другим выносила Зина раненых. Перевязывала, оставляла в укрытии и шла за новым. Всего она вынесла с поля боя 128 раненых воинов. Вот Зина заметила, как тяжело рухнул на землю командир роты. Она бросилась к нему на помощь. В это время что-то сильно обожгло ноги. Но Зина не остановилась. Оставляя кровавый след на снегу, она продолжала ползти к распростертому телу. Когда Зина доползла, командир был уже мертв.

Взяв документы и оружие командира, Зина поползла обратно. Но в это время немцы перешли в контратаку, наши оставили поле боя. Зина притворилась мертвой. Истекая кровью, почти без памяти, она лежала не шелохнувшись. К ней подошел вражеский офицер и ударил ногой в живот. Затем с остервенением начал бить прикладом автомата по голове, по лицу...

Только в полевом госпитале очнулась Зина. Она вся была забинтована. В голове стоял шум, ноги и руки не слушались и страшно болели. Зину немедленно отправили в госпиталь в Липецк.

Мужественно перенесла Зина восемь тяжелых операций, одну за другой. Подвиг, совершенный ею на поле битвы, продолжался здесь, в госпитале.

Опытный хирург Соколов разделал лок-

тевую и лучевую кости, сделал из них два «пальца», и Зина стала учиться брать ими вещи. На остатках правой руки ей сделали манжет и с его помощью она училась писать.

Но особенно трудно было ходить. Не раз Зина падала и ударялась лицом об пол — ведь рук не было и подставлять было нечего!

Много мучительных дум передумала Зина. Мрачная перспектива рисовалась ей. Стоило ли жить в таком положении? Зина решила не писать домой. Потерял ее и муж. Первыми из газет о героических делах девушки-воина, о ее трагической судьбе узнали комсомольцы Свердловска. Они писали ей письма, поддерживали, в своем роде, взяли над ней шефство. Как она радовалась, когда однажды получила от них письмо, в котором рассказывалось, что в неурочное время они построили танк и называли ее именем. Это воодушевило Зину.



Медаль Флоренс Найтингейл, которой награждена Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко в 1965 году

Она приободрилась. Поняла, что нужна еще людям, может бороться и ей еще рано складывать оружие.

Москва. Институт протезирования позади. 4 января 1945 года Зина приехала в Ленинск-Кузнецкий. Ее сопровождала медицинская сестра. Трудно еще было Зине. На протезах ходить как следует не умела. Но продолжала упорно тренироваться.

Ленинск-Кузнецкие подруги часто навещали Зину.

Зина много рассказывала подругам о войне, о том массовом героизме, который проявляли наши солдаты и офицеры в сражениях. О себе почти ничего не говорила. Была, дескать, ранена, обморозилась. Вот и все.

Война закончилась. Вернулся домой муж Иосиф. Он все делал, чтобы облегчить ей жизнь. Сам готовил обед, убирал комнату. Ежедневно выходил с Зиной на улицу, на свежий воздух.

В 1946 году Зина родила сына. Назвали его Станиславом. Всю материнскую любовь отдала Зина своему первенцу. Но судьба нанесла Зине еще удар. Сын заболел и умер. Зина тяжело переживала смерть сына. Ей хотелось иметь детей. Растить их, воспитывать для Родины, для себя. В 1948 году у них родился еще ребенок, но вскоре умер и этот.

Врачи посоветовали Зине переменить климат, изменить обстановку. Так и сделали. В 1950 году они уехали из Ленинска-Кузнецкого на родину Зины в город Полоцк и по сей день живут там.

Тепло встретил Полоцк свою знаменитую землячку. Государство помогло построить дом. Зине подарили автомашину «победа», назначили пенсию.

Зинаида Михайловна была героем на фронте, героем она продолжает быть и в годы мирной жизни.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в дни Великой Отечественной войны, Зинаида Михайловна удостоена звания Героя Советского Союза.

Зинаида Михайловна — активная общественница. Она член Полоцкого горкома партии, депутат городского Совета. Ее часто приглашают в школы, на предприятия. Она там рассказывает о героических подвигах советских людей в годы войны.

Коммунистка, славная дочь своего народа по-прежнему в строю активных строителей коммунизма.

Зинаида Михайловна — мать двух детей. Старшему сыну Владимиру 13 лет, дочери Нине — 6 лет. Жизнь Героя Советского Союза Зинаиды Тусноловой-Марченко — свидетельство огромной любви к жизни, к людям, к матери-Родине.

В сентябре 1965 года в жизни Зинаиды Михайловны произошло очень важное событие. Международный Комитет Красного Креста в Женеве присудил ей международную медаль Флоренс Найтингейл.

Медаль эта учреждена в память национальной героини, английской сестры милосердия, совершившей подвиг в прошлом веке, — Ф. Найтингейл и присуждается каждые два года сестре милосердия разных государств.

Этой чести и была удостоена медсестра из легенды, Герой Советского Союза Туснолова-Марченко Зинаида Михайловна. Она третья советская медицинская сестра, удостоенная этой высокой награды.

На вклейках этого номера мы помещаем репродукции с живописных работ молодого художника Ивана Филичева. Ему тридцать лет. Приехал в Кузбасс в 1963 году после окончания Харьковского художественного института.

Сибирь, Кузбасс он полюбил еще тогда, когда студентом приезжал на строительство Запсиба для преддипломной практики. Величественная природа Сибири, размах ее строек захватили художника. Но особенно ему понравились люди, меняющие лицо сибирской земли, люди с сильными, интересными характерами, закаленные в борьбе с суровой природой.

Любимые жанры художника — это портрет и жанровая картина. Через портрет художник старается передать всю сложность и выразительность характера нашего современника, мужественные и волевые черты, свойственные людям напряженного, а порой и опасного труда. Монтажники-высотники, сталевары, шоферы, экскаваторщики, строители — вот герои произведений Ивана Филичева.

Художник много ездит, собирая материал для своих работ. Недавно он вернулся из поездки на стройку Красноярской ГЭС. Привез массу натурального материала, отражающего трудовую жизнь строителей этого энергетического гиганта.

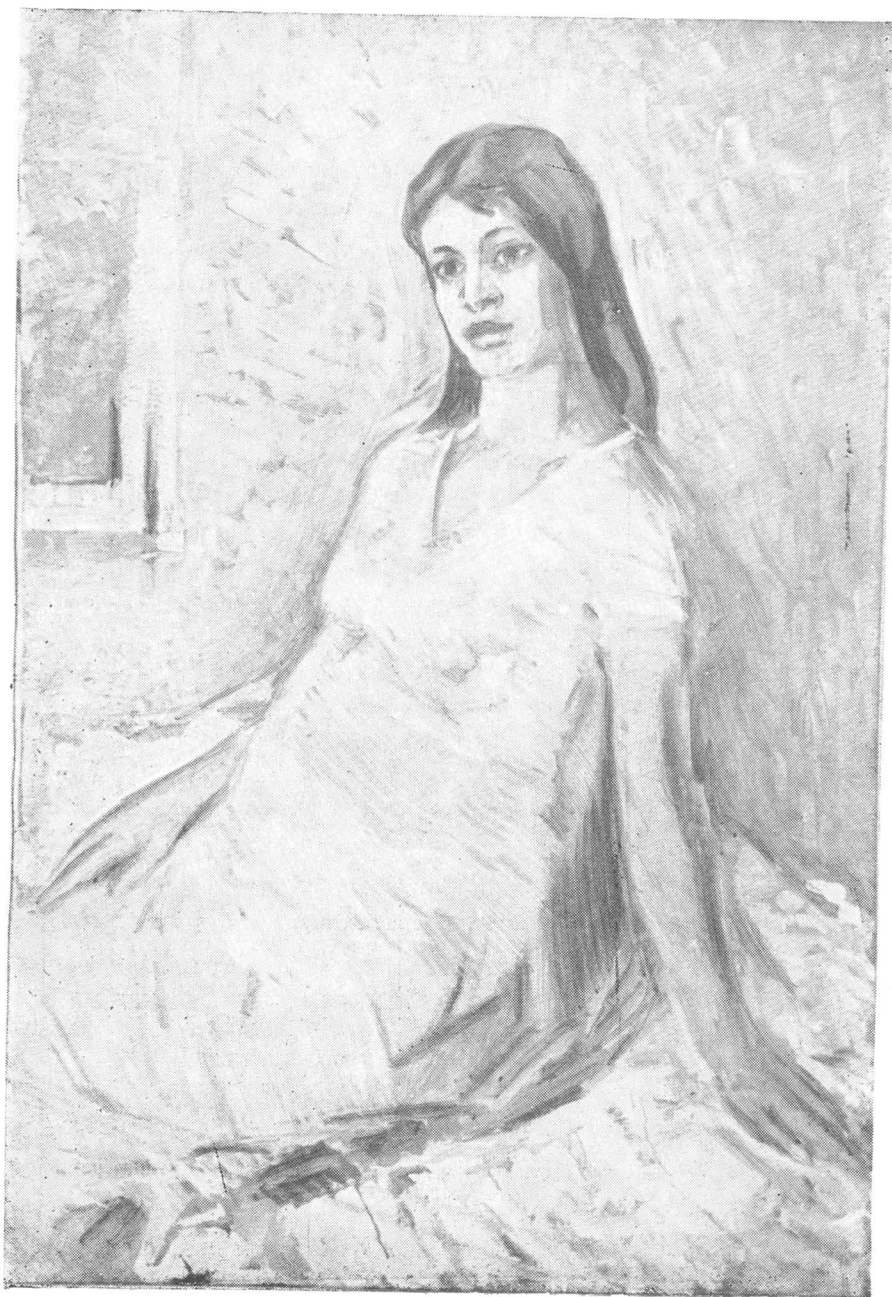
На основе своих ярких впечатлений художник работает над эскизами много, кропотливо.

Лучшие из его этюдов: «Любаша с Запсиба», «Люсенька», «Сталевары», «Сварщица», «Скалолаз», «Такелажница», «Строитель КГЭС» и другие экспонировались на областной художественной выставке в Кемерове, а с картиной «Шоферы» И. Филичев участвовал на межзональной выставке «Сибирь социалистическая» (г. Новосибирск). Картина рекомендована на Всероссийскую выставку произведений молодых художников. Иван Филичев кандидат в члены Союза художников РСФСР.

Говорить о И. Филичеве как о сформировавшемся художнике, возможно, еще рано. Художник много работает, ищет, пробует писать в различных манерах, много экспериментируя, как говорят, идет дорогой находок и потерь.

Иван Филичев любит письмо широкое, свободное, подстать изображаемому им героям. Пользуется скудными средствами в передаче характеров своих героев, не прибегая к внешним живописным эффектам. Это свойственно большинству его работ. Как у любого молодого художника, у И. Филичева все впереди. Трудлюбие, увлеченность художника и имеющийся уже опыт дают нам основания ожидать от него в недалеком будущем интересных и оригинальных работ.

Л. ГЛЕБОВА



И. Филичев. ОЖИДАНИЕ. Масло.

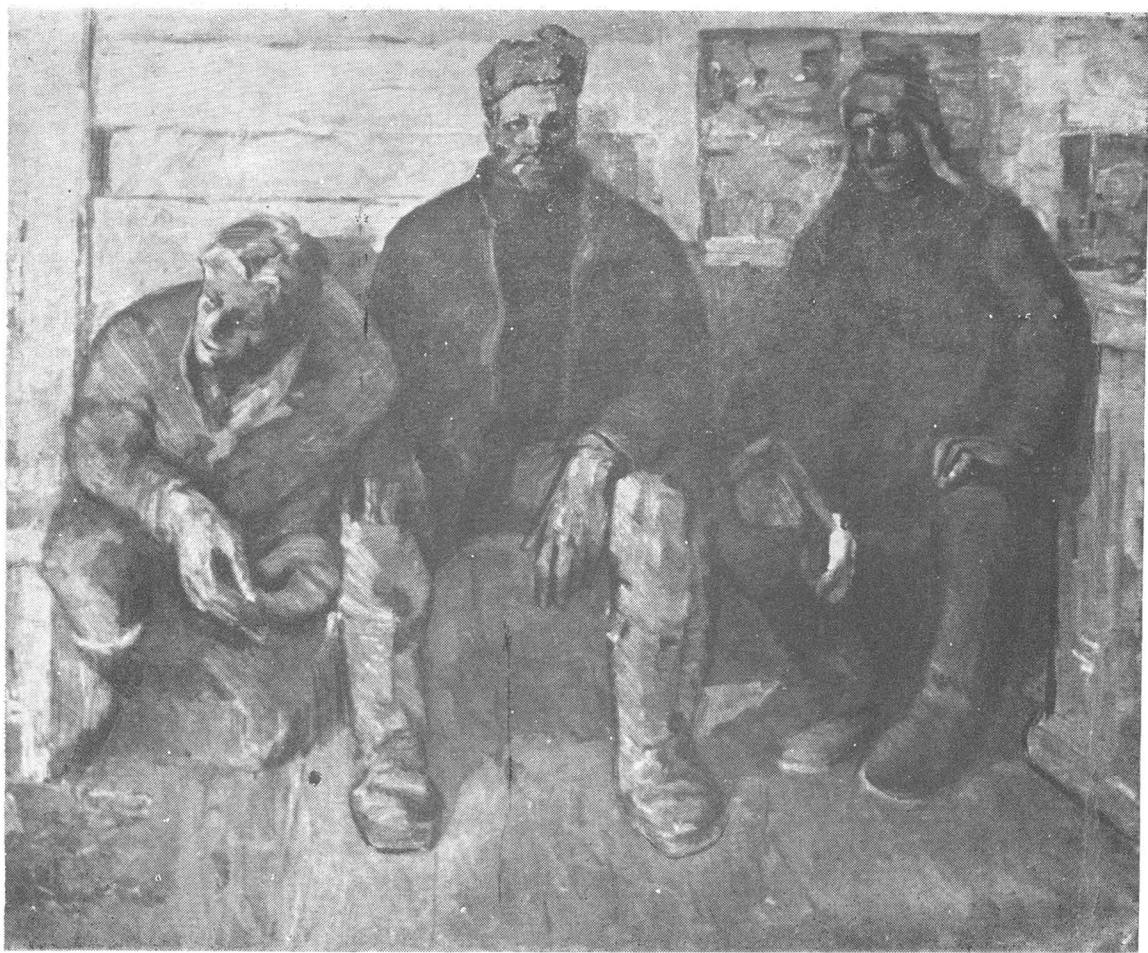


И. Филичев. ШОФЕР КЕДРОВСКОГО РАЗРЕЗА. Масло.



И. Филичев. ШОФЕР КЕДРОВСКОГО РАЗРЕЗА. Масло.

И. Филичев. ПЕРЕКУР. Масло.



В областной газете «Кузбасс» читатель часто встречает имя журналистки Таисии Шатской. Оно появляется под очерками, статьями, корреспонденциями, рецензиями. Т. Шатскую можно нередко встретить на стройке, на заводе, в колхозе. Ведь журналист больше времени проводит в пути, чем в редакции. И каждая поездка наполняет его новыми впечатлениями, которые скупыми строками ложатся на страницы постоянного спутника журналиста — блокнота.

Телеграмма

Тамара Маричева окончила механический техникум в Туле. Там есть театр, без которого жить Тамаре очень трудно.

Тамара два года на стройке. Тамара два года не была в театре. Сейчас она сидит с телеграммой «молнией» в руках. Ее приглашают работать в Тулу. Подруги по комнате — грустные, притихшие.

— Поезжай, Томка, даже не задумывайся, — говорят.

Тамара работает на стройке не по специальности. Ее назначили мастером на отделку земляного полотна. «Для приобретения опыта», — сказали. Ребята-планировщики подобрались боевые. А она тихая. Вот и попробуй приобрести опыт.

За окном барака посвистывает паровоз,

подает сигналы путеукладочный кран.

Стемнело. Путьеукладчики работают при свете прожекторов. Кран поворачивается за очередным звеном, и земляное полотно погружается в темноту. При повороте лучи света выхватывают из темноты маленькую фигурку.

Это Тамара Маричева. Каждое движение пэкашки (ПК-6) понятно ей, будто она сама управляет им. Сердце ее тревожно бьется. Отчего бы? Отчего ей так хорошо на этом холодном снежном полотне?

— Двенадцать часов, пересмена! — кричит кто-то от паровоза.

«Что ж это я? — торопится Тамара. — Ведь завтра рано на работу».

Телеграмма осталась без ответа...

Бабка

Откровенно говоря, хотелось пройти одной по этой недалей дороге от деревни до станции. Идешь вот так полем, а горизонт все дальше и дальше... Надвинется в облаке пыли грузовик, станешь на краю поля, — даже скошенное, оно живым кажется. Выглянет из кабины шофер, ослепительно бле-

снет полоской зубов, и вот уже исчез его грузовик. А дорога не бежит, мягко стелется.

И вдруг появилась бабка. Как в сказке. Стоит на дороге, поджидает. Подхожу, протягивает горсть семечек, говорит приветливо:

— Вместе-то веселее идти.
Какое там, думаю, веселее. Послал бог попутчицу. А бабка репей с юбки обирает, объясняет охотно:

— Огородами шла, наперерез тебе, вот и встретила.

И зачем ей нужно было меня встречать? Идем. Молчим. Ненавязчивая, видно, старушка. А навстречу — клубы пыли, не от машин, ветер поднимает. Небо становится тревожным. Синее горизонт.

— Ох, не надо бы дождя, — вздыхает бабка. — Само время молотить.

— Да-а, — поддерживаю я ее.

— А ты бери, бери семечки-то, — суетится моя попутчица, — тепленькие еще, прямо со сковородки.

На станции — ни души. Ветер бьется в дощатые стены двух крепких длинных барачков. Не от них ли получила свое название Казармы эта маленькая станция? А может, во время войны здесь и впрямь были солдатские казармы?

— Были, были, — кивает старушка.

И затихает. Укрывшись от ветра за дом, она сидит на бревне, подоткнув юбку и нахлывшись. И такое у нее печальное, по-бабьи горемычное лицо. Морщины безжалостно избородили его. И чувствуется за каждой из них, глубоких и темных, горе, пережитое человеком.

— Сколько вам лет, бабушка? — спрашиваю.

— Семьдесят девятый, — отвечает и, словно угадав мои мысли, вздыхает, — десять было у меня детей-то, четверо на фронте убиты.

С шумом пронесится электропоезд. Проходят скорые, товарные. Ни один не оста-

навливается здесь. Станция маленькая. Скорее не станция, а полустанок. Мы ждем «молокан». Этот остановится. Везет он молоко в город и, как говорят, каждому столбу кланяется.

Вечерет. На синем горизонте отпечатались зубья синего леса. Начинает накрапывать мелкий дождь.

Подходят двое парней с грибами в ведре.

— Батюшки вы мои! — всплескивает руками старушка. — Обабушки, а вот эти голубые — грузди. Ишь ты, красавцы-то какие.

И сколько радости в ее словах, так бережно берет она грибы за толстые ножки, и любит ими, и видит голубой оттенок там, где как будто бы лишь бело-серый цвет, и ласково называет обабки обабушками... И тогда мне вспоминается, как шли мы с ней полем, и она сказала, глядя в даль: «Ишь ты, комбайн плывет...». И столько чувства вложила в последнее слово. Комбайн и в самом деле плыл. Но это так привычно. Сколько лет уж ходит он по хлебам, словно по волнам. А бабка увидела его (в который раз!) и залюбовалась им.

Парни сбегали в барак за стаканом, разложили огурцы. Через минуту повеселели: «Кабы не грибы, подались бы сейчас до следующей станции».

— Свое узно не грузно, — певуче отозвалась старушка.

Парни расхохотались:

— А ты случаем, бабка, не стихи пишешь?

Тихо улыбнулась, разгладила юбку на коленях. Молчит моя попутчица.

И так-то хорошо вместе с нею ждать поезда.

«ХОЧУ ДОМОЙ»

Розе Семеновой 18 лет. Она приехала на стройку по путевке комсомола. Старательная, тихая девушка.

Роза заглядывает в кабинет главного инженера Гинсара. Потом осторожно входит, протягивает листок:

— Прошу уволить.

— Почему?

— Хочу домой.

— А ведь скоро праздник окончания стройки, — говорит Евгений Прокопьевич. — Закончим эту дорогу, поедem другую строить. Сибирь большая...

— Хочу домой, — повторяет Роза.

У Гинсара седые виски и внимательные глаза. При первом взгляде на него думашь: «Устал человек за свою жизнь». Но

когда он говорит тихо, задумчиво: «Хорошо проехать по своей дороге. Каждый камень вспомнишь, каждую лопату балласта», — глаза становятся живыми и ясными. И видишь, как он выпрямится и упруго пойдет, отсчитывая шпалы...

Евгений Прокопьевич не агитирует. Он знает: трудно на стройке зимой. Только глаза его становятся снова усталыми, когда он берет ручку, чтобы написать на заявлении резолюцию. Роза подается к столу, тревожно смотрит на свой листок.

В коридоре она несколько раз перечитывает:

«Уволить после соединения дороги на станции Шора, если не будет другого заявления со стороны Р. Семеновой».

КОСУЛИ

Гудок паровоза вспугнул двух диких коз. Они бросились в горы. Бежали по скалам все выше и выше. И вдруг, сорвавшись, полетели вниз, к путеукладочному крану.

Собрались ребята.

Золотисто-желтый мех покрывался алыми пятнами. Застыли полные ужаса глаза.

Ребята жалели: «Как же это они?».

Геодэзист Галя Федорец сказала:

— Я знаю... Они кинулись в гору по старым тропинкам. И вдруг тропинки оборвались. Была гора, а мы ее взорвали. Теперь обрыв...

Коз оттащили на снег. И разошлись с кайлами и лопатами в руках.

Последней отошла от крана Галя Федорец. Она шагала по заснеженному полотну будущей железной дороги, маленькая девочка в большом мамином платке и валенках, с нивелиром в руках. Справа и слева от нее чернели угрюмые пихты.

Галя шмыгала носом, прикладывала рукавички к глазам. Все-таки красивые эти козы. Кто-то сказал, что это не просто козы, а косули.

НАГРАДА

Бодрым голосом, торжественно и немного важно секретарь райкома сказал:

— Похвальным листом и ценным подарком награждается Девятова Валентина.

Грянул оркестр. Аплодисменты всколыхнули зал.

Но никто не поднялся по ковровой дорожке на сцену.

Секретарь держал большой лист с яркой надписью «Похвальный» и маленькую коробочку. В зале переглядывались, смотрели на входную дверь.

— Валя, где ты? — крикнул растерявшийся секретарь.

— Она стесняется, — тихо сказал кто-то из первых рядов.

И тогда секретарь прыгнул со сцены. Грянул туш громче прежнего. Зааплодировали еще дружнее, когда секретарь пожал руку девушке, привставшей на минутку в первом ряду залитого светом зала.

Потом получал награду старый строитель. Он солидно поднялся на сцену и сказал речь из трех слов: «Постараюсь работать лучше».

Проходя мимо красной от смущения девушки в первом ряду, он кивнул ей: «Ничего, мол, привыкнешь».

СЛОВО О МОЛОДЫХ



Если сравнить нашу литературу с большой, полноводной рекой, то можно сказать, что эта река постоянно пополняется притоком малых ручейков и речек — молодыми свежими силами.

В отделение Союза писателей, в издательство, в редакцию альманаха приносят свои рукописи студенты, журналисты, рабочие, геологи, строители, учителя.

С созданием в Кемерове отделения Союза писателей забота о молодых литературных кадрах, о нашей смене приняла конкретные, действенные формы. Опытные писатели не оставляют без внимания ни одну сколь-нибудь заметную, с проблесками таланта рукопись начинающего автора. Каждый из нас, литераторов старшего поколения, считает своим гражданским долгом — да и душевной потребностью — помогать молодым, будь это литконсультация, рецензия, очная беседа или редакторская работа над рукописью, требующей доделки.

Отряд литературной молодежи в Кузбассе очень велик. Вот красноречивый пример: из тридцати четырех поэтов, чьи стихи составили первый кузбасский сборник «День поэзии», большинство — молодые, не имеющие еще своих книг, но уже готовящиеся их издать.

О стихах некоторых из них и пойдет речь в этих заметках. Заранее оговорюсь: я не собираюсь ставить и тем более решать какие-либо проблемы, мне просто хочется поразмышлять о работе молодых кузбасских авторов, чьи стихи — со всеми их удачами и недочетами — вызывают желание поделиться впечатлениями.

Нашим землякам, любителям поэзии, наверно, уже запомнилось имя Анатолия Саулова — он часто выступает в областной печати.

Лирический герой А. Саулова — думающий, активный человек; постоянное вторжение в жизнь — основа его существования; круг его интересов широк и разнообразен. С чувством гордости и грусти размышляет он о безымянных героях, погибших за Родину, за счастье детей и внуков своих; с болью в сердце встречает слепого старца, который «в последний раз когда-то сраженья видел, а не мир»; восторгается судьбой мостостроителей, живущих там, где «не палаты, а палатки», рыбаков, «бородатых, как Стенька». Как в родной дом, заходит он в избу солдатской матери, чтобы своим вниманием и участием согреть ее, до сих пор ждущую потерянных на войне сыновей; умеет поладить с колхозным дедом, который неодобрительно щурится на узкие брюки молодых горожан, приехавших помочь колхозникам.

А. Саулов — несомненно способный интересный автор. Лучшие его стихи свидетельствуют об интенсивной работе мысли, о поисках своих образов. В степи, где кипели битвы, «окровавленной шашкой со свистом радуга взвилась»; падающие в бою пахари рождают у поэта ассоциацию со «сбитыми под корень колосками». Хорошо сказано о вечерней реке: «как теленок мягкой мордой, в берег тычется река»; о земле, которая «прижимается к иллюминатору, как лицо загрустившей матери» (при отлете космонавта); о том, что уставшему после работы человеку кажется, будто «оглушительный кузнечик в траве, как трактор, та-рахтит». Запоминается образ, передающий страх утопающего: «только волны, волны, волны, расширяясь, как зрачки...».

Такие образы-находки говорят о зоркости поэтического зрения автора, о его вдумчивом проникновении в сущность предметов и явлений.

Общезвестна истина: поэт мыслит образами, чем и отличается, скажем, от ученого, оперирующего понятиями.

А. Саулов умеет находить оригинальные образы, которые даже знакомое, привычное, обыденное показывают в новом свете,

но они для него — не самоцельные атрибуты поэзии, а действенные «помощники», призванные как можно ярче, впечатляюще донести до читателя ту или иную мысль. Этот органический сплав мысли и образа — самое драгоценное достоинство стихов молодого литератора. Мысли у него светлые, жизнеутверждающие. Он не перестает восхищаться русским народом, в котором «издавна и удаль и размах», родной землей, на которой простые труженики «жадно в жизнь врастают, словно в берег тополя». Этим людям от природы присуща оптимистичность: бывает, «устанут они — невмоготу», но «ярко вдруг, как белый месяц, улыбка брызнет в темноту».

У А. Саулова — обостренное чувство Родины, России, всего русского (стихотворения «Родина», «Сенокос», «Дорога», «Степь», «За деревней — родные покосы», «Безымянные» и др.), качество которого, к сожалению, не хватает многим стихотворцам.

Каждый свой отпуск А. Саулов проводит в далеких поездках по Сибири, по северным ее окраинам. В эти поездки зовет его неумная юношеская жажда познания мира, людей, их характеров. И я уверен, что именно богатство живых, непосредственных впечатлений позволяет А. Саулову находить свои слова и краски даже в разработке старых тем. Вспоминается мудрый афоризм Горького: мысль приходит после факта. Сидя в четырех стенах, не найдешь таких конкретных деталей, какие встречаем в стихотворении о севере, о тех местах, где добывают нефть:

Север — солнца не хватает.
Север — вьюгою в лицо.
Север, брызжащий фонтаном,
Словно черным деревцом...
Здесь, в краю седом, где вышки
Над нахмуренной тайгой,
Даже сосен красных выше
Встал на цыпочках огонь.
Пусть метели здесь встречают,
Лишь костер бы не потух,
Чтоб над ним запрыгал чайник,
Как взъерошенный петух.

Это, так сказать, внешние детали, они как бы трамплин для завершающих стихотворение строчек о нефтяниках, которыми залюбовался поэт и приподнял увиденное до гиперболы:

Если ты зачем-то выйдешь
В край, пока еще немой,
Ты не синь небес увидишь, —
Спинны в небо шириной!

Не на «броде», не на танцплощадке, а в таежной глухомани повстречал автор девушку — геолога Валу Селиванову и, переполненный чувством уважения к ее благородному труду, к ее завидной целеустремленности и мужеству, посвятил ей стихот-

ворение. Девушка покорила его сердце тем, что «судьбу свою нелегкую счастливо звала».

Под лампочкою тускленькой
Стучат ее шаги.
А ей все реже туфельки,
Все чаще — сапоги.
А верст на сто округою
Медвежий здесь простор,
А филин линзы круглые
Наводит на костер.
И лишь приемник маленький
Напомнит иногда
О вальсах и о маме,
О дальних городах.

Не ради славы или денег переносит многие трудности и невзгоды таежной жизни романтически настроенная девушка — нет, ей хочется, очень хочется оставить добрый след на земле:

Она к нам в отпуск вылетит,
Но вновь в тайгу вернется.
Ведь на асфальте выбитом
Следов не остается.

Непроторенными, невыбитыми путями идут герои А. Саулова в жизнь. Да и сам он все время в пути — в творческих поисках. Дороги — и в буквальном и в переносном смысле — близки его пытливой, беспокойной натуре.

Мимо хат, и хлебоз, и рос
Ты с родного ушла порога.
Я с тобою мужал и рос,
Я тебя полюбил, дорога...

Думается, эта дорога откроет поэту еще много интересного, нового, о чем он и расскажет нам. Деревня для него не только место, где родился, а нечто большее; ему верится, «что и вся-то Русь берет начало вот от этих пашенных равнин». В родной деревне, в этом «царстве изб, и пашен, и берез»:

Нас труду учили, чтоб под вечер,
Только срок для отдыха пришел,
С хрустом распрямить тугие плечи
и сказать устало:
— Хорошо...

Да, хорошо, что есть на свете такая страна — Русь, Россия!

День идет — веснушчатый и русый.
Слышишь, птицы в зарослях поют?
И вот это называют русским,
И за это жизни отдают!

Конечно, есть у А. Саулова и неудачные стихотворения. Иногда он присущую ему эмоциональность и образность подменяет холодной, бесприветной декларативностью, вроде «чтоб друга верного иметь, им надо прежде — быть» (для широкого читателя

это не новость), иногда ступает на тропу избитых тем, как в стихотворении «Я боюсь опоздать», мысль которого можно встретить во множестве сборников молодых: «Я боюсь опоздать, мечтам изменя, что уйдут поезда в дальний рейс без меня». Но главное впечатление от его поэтической работы — отрадное. Думая о будущем А. Саулова, хочется предостеречь его от увлечения новой «модной» формой, в частности «евтушенковской» рифмой, которая, как бы там ни одобряли ее, всегда режет слух. Для многих она, на мой взгляд, нехарактерна, и многие, пользуясь ею, просто как бы отдают дань «модному» течению. А это уж подражательность. А. Саулову нет резона подражать кому-то, он может писать по-своему. И есть основания надеяться, что негромкий, но душевный, свежий голос его не затеряется в хоре поэтической молодежи Сибири.

* * *

Первые стихи Анатолия Саулова были навеяны, как мы увидели, деревенским бытом, пашнями и лесами. А вот Виктора Чурилова заставил взяться за перо совсем другой мир — мир станков и моторов, в котором царствует гордость и слава нашей Родины — рабочий класс. Его первые стихотворные опыты — это искренний порыв юноши, влюбленного и в свою профессию токаря, и в товарищей по цеху, гордо носящих замасленные спецовки.

Смотрите, какие неподдельные чувства звучат в каждой строчке стихотворения «Станку»:

Я изучил тебя со всех сторон.
Могу узнать твоё желание любое.
Как рад я, что ты весел и здоров!
Как это здорово, что мы друзья
с тобою!

Я понимаю все, что ты гудишь,
Твой голос то тревожней, то добрее.
Ты так гудишь, как будто

говоришь
Слова признания и одобренья.
Ведь у станков рождаются стихи,
С которыми нам радостно и бодро.
Да здравствуют поющие станки!
Да здравствует веселая работа!

Подлинность чувства молодого автора здесь настолько очевидна, что ради этого мы готовы простить ему и некоторую неуклюжесть формы, и несамостоятельность интонаций, напоминающих Владимира Луговского с его известными строчками о большевиках пустыни и весны.

Рабочую тему можно назвать внутренней, сокровенной темой В. Чурилова. Все его поэтические удачи так или иначе связаны с этой темой, раскрывающей жизнь людей труда, их судьбы. Ей он обязан своими лучшими образами и красками, значительными мыслями и искренними чувствами.

Вы видели, как гордо, а не горестно, исколесив немало тысяч верст, чугунным шагом уходил из города чумазный работяга — паровоз.
Шел медленно, на стыках спотыкаясь, шел так он, как идут в последний раз.
Шел как больной, хрипя и задыхаясь, и был бессмертием своему не рад.

Надо быть по-настоящему рабочим человеком, чтобы так ярко, зримо, поэтично рассказать о последних шагах отжившей свой век машины. Но не из сентиментальной жалости родилось это стихотворение, а из желания утвердить мысль о бессмертии всего доброго, что оставляют после себя люди:

Его шихтой мартену вложат в пасть
И доведут до белого свечения...
Он не умрет! Он жизнь вернет опять
великим свойством перевоплощения!
И снова труд. И снова непокой.
И снова ветер в грохоте и свисте...
И я завидую судьбе такой.
Я презираю крик: «Остановите!».

Наверно, так же не любит состояние неподвижности, покоя герой другого стихотворения «Сварщик», который с детских лет стремился к звездам, и вот мечта его, хотя и косвенно, сбылась:

И видел, как, ракетой взвитый,
вступив в борьбу с холодной мглой,
летит корабль, надежно сшитый
его волшебною иглой!

Очень гордится В. Чурилов людьми, без которых и к звездам не улетишь, и хлеб не скосишь. Одно из стихотворений так и называется — «Рабочая гордость». Оно тоже привлекает искренностью, убежденностью авторских позиций.

Мы не любим мозолями хвастаться,
твердо зная, с какой теплотой
жмут мозолистую, незахватанную,
сталью пахнущую ладонь.
Но бывает обидно очень
за иных друзей и подруг,
что стыдятся своих рабочих
не изяществом ценных рук.

Эти друзья и подруги, — видимо, новички, и автор считает нужным напомнить им, что не всякие белые руки — чистые и честные, зато рабочими руками «вертится шар земной!»

Знаменательно, что В. Чурилов воспевает не отвлеченно взятых рабочих, а именно своих современников — людей мыслящих, передовых, интеллектуально развитых. Это они «берут учебники и папиросы гасят... Мон друзья-вечерники шагают бодро в классы». Герои стихов В. Чурилова полны нетерпения наверстать упущенное (многим из них в юности было не до учебы), приоб-

В героях стихов В. Чурилова, воспитанного требовательной, подчас суровой, но всегда справедливой и честной рабочей средой, подкупает прежде всего большая нравственная чистота, духовное здоровье, сила характеров. Эти герои не выдуманы, а взяты из действительности, бок о бок с ними живет и трудится сам автор. Одно из его последних стихотворений из цикла «Сибирь — Москва» — «В студенческом общежитии» свидетельствует о том, что и в непривычной ему атмосфере жаростных споров о высоких материях среди кинжального огня скрещивающихся суждений и мнений обо всем на свете В. Чурилов, простой сибирский парень, остается на высоте тех принципов, которые привил ему рабочий класс.

Не трудно догадаться, что речь здесь идет о молодых современных «нигилистах», которые еще ничему не научились, кроме отрицания всего, что свято для большинства. Такие вот «рано созревшие» юнцы не только врут о веке космоса, но и кропают свои подпольные «произведения», чтобы при удобном случае издать их в каком-нибудь буржуазном бульварном журнальчике, облив грязью все советское, социалистическое... И как внушительно противостоит им мирооушение рабочего парня, пишущего стихи с одной думой — с думой о Родине:

Мне довелось читать в рукописи и некоторые самые последние стихи В. Чурилова. Рукописные вещи не принято цитировать, но все-таки я должен сказать, что эти стихи, к сожалению, стали более рассудочными, умозрительными, чем первые, пусть робкие, неумелые, но соретые живым чувством опыта. А может быть, это попытка сделать свое слово публицистическим?.. Весьма возможно. И тем не менее не следует В. Чурилову оставлять рабочую тематику — она органически близка ему. Родник этой тематики неиссякаем. У нас есть высокий пример замечательной творческой и

Только тот источник вдохновения, который дал В. Чурилову силы приобщиться к поэзии, может, на мой взгляд, способствовать дальнейшему его творческому росту. Когда он забывает об этом, у него появляются посредственные и просто слабые стихи, такие, как «Поезда», в котором, как и в одноименном стихотворении А. Саулова, не брезжит никакая новизна, а только топчется примелькавшаяся мысль: «Где мой поезд? Скоро ли? Идет ли он? Только бы успеть! Не опоздать!».

* * *

Года три назад в «Комсомольце Кузбасса» появилась поэтическая подборка Виталия Юречко. Редакция сопроводила первое выступление молодого автора вводкой, в которой отмечалось, что «Виталий Юречко пока еще только «ставит» свой голос, ищет свою поэтическую интонацию. Но уже есть успехи».

Ни икон золотых, ни портретов вождей
Не висело в затюгненной спальне,
Только книги, посуда да запахи дрожжей,
Возле печки — подшитые валенки.
Да сундук-великан пол-угла покори́л.
Закурить ли? Сижу и кумекаю.
В этом доме давненько никто не курил,
Потому что курить было некому:
Мать и дочь — как две капли беды.
Две войны — два креста на Смоленщине.
И живут, как умеют, в селе Коварды,
Овдовевшие женщины.
А в окне примороженно /звезды горят.
А в душе что-то больно шещащее.

— Пусть попахнет, сынок, закури,
— говорят, —

Ведь у нас были тоже курящие.
Как родня, в украинском селе Коварды
Есть знакомые русские женщины.
Не забыть мне их вдовьей беды —
Две войны — два креста на Смоленщине.

Не будет преувеличением назвать это эмоционально пронзительное стихотворение отличным; оно берет за сердце.

«Коварды» — это как бы маленькая поэма. В. Юречко сумел сжато, но емко сказать об очень многом. Мы сами как будто побывали в доме двух овдовевших солдаток — так точен отбор деталей, рисующих обстановку: подшитые валенки, большой сундук, книги, запах дрожжей... Часто вещи говорят о хозяине больше, чем он сам.

Мы видим только детали, но наше воображение уже рисует все, что характерно для этой семьи. Да, тут живут небогато — новые валенки купить не на что... Любят читать... Любят порядок — все мало-мальски ценное не валяется где попало, а хранится в сундуке, который, может статься, был бабушкиным подарком ко дню свадьбы...

Гость взволнован, ему хочется закуристь, но он не решается (боится надымить) и мнет папиросу в пальцах. И вдруг тихий голос доброй женщины: «Пусть попахнет, сынок, закури. Ведь у нас были тоже курящие». И опять эти две фразы дорисовывают нам то, чего в стихотворении нет, но читается между строк.

В стихотворении нет каких-то особых поэтических приемов, внешне эффективных образов, зато есть очень верная интонация, душевная взволнованность, простота правды, хороший художественный вкус, чувство меры. Кто-то очень мудро подметил, что совершенное художественное произведение — это слова, расставленные в лучшем порядке. В. Юречко доказал, что он умеет «расставлять слова» именно так, как надо.

Но, к сожалению, В. Юречко мало пишет. А то, что появляется время от времени в областной печати, ниже его возможностей, и мне не хочется подробно останавливаться на слабостях других его стихов, так как они, эти слабости, присущи многим молодым — это случайный выбор темы, скольжение по поверхности, отсутствие значительной, выстраданной мысли и т. д.

Равняться Виталию Юречко надо на стихотворение «Коварды». Уверен, что оно родилось потому, что не могло не родиться — сердце потребовало рассказать о большом, человеческом горе, о невеселой вдовьей доле двух русских женщин. Только так, по велению сердца, и следует браться за перо. Так создавалось и создается все стоящее.

* * *

Не первый год пробует свои силы в поэзии Павел Майский. Его стихи искренни, лиричны, не лишены удачных деталей, но часто им недостает серьезных обобщений. Ну, что нового, скажем, в такой сентенции из стихотворения «Командировки»: «Чем дальше ты, чем путь трудней, тем мне любовь твоя дороже?». Между тем, в этом же стихотворении хорошо, образно сказано о глазах любимой:

Глаза твои с улыбкой робкой,
как зимним вечером окно,
зовут к теплу, к уюту, к свету,
остаться здесь, с тобой, зовут.

В концовке стихотворения «Первый снег» — ложное глубокомыслие:

Он, конечно, выпал ненадолго.
Но зато он самый настоящий!

А вот другой известный молодой поэт утверждал, например, что самый настоящий снег — это третий. Даже книжку так назвал. Оба утверждения кажутся надуманными, произвольными.

П. Майский непросто мало работает над словом — и отсюда всякие казусы. Стихотворение «Май влетал подснежников узоры» завершается такой строфой:

И приду я в дебри вековые
Рассказать, что сердцу дороги
Не одни просторы полевые,
Но и жизнь проснувшейся тайги.

«Дороги — тайги» фигурируют здесь как рифмы, а ведь эти слова совсем не созвучны, если «дороги» произнести правильно, с ударением на первом слоге.

В стихотворении «Баритон» рассказывает о самовлюбленном начальнике, который по ночам дудит в трубу, «портит нервы своей старухе». Затем говорится о музее:

Там под знаменем, в бурке отчаянной,
Паренек-трубач на коне.

И — обобщение:

Очень он уж похож на начальника,
Что в подъезде встречается мне.

Из-за неточности словесной формулировки истолковать его можно двояко, так, что, например, невольно падает тень на героя красноармейца «в отчаянной бурке».

Техническая сторона некоторых стихов П. Майского не отличается добротностью: рифмует он часто приблизительно, беспричинно меняет иногда размер в одном стихотворении. Все это создает впечатление неряшливости, какой-то ученической беспомощности.

К чести молодого автора следует сказать, что в последнее время он начал писать бо-

лее вдумчиво, серьезно. Запоминается стихотворение о старом холостяке, математике. Неподдельной грустью звучат здесь строчки: «Для чего автоматы, если нету жены?». Найдена убедительная деталь, подчеркивающая одиночество героя: «А соседи на кухне пьют семей самовар» (правда, точнее — пьют чай из самовара). Но чуть выше деталь чисто натуралистическая, безвкусная: «Стонут девичьи губы на любимых устах». Весьма условно также назван герой математиком. А почему бы не быть ему, допустим, химиком или строителем? Строитель даже еще выигрышней — дома, мол, строит, а собственную семью построить не сумел...

Как видим, и в наиболее удачных стихах П. Майского то и дело встречаются мелкие погрешности. Конечно, их можно

отнести за счет неопытности, неискушенности молодого автора, но все-таки нельзя не пожелать ему как можно тщательнее обрабатывать свои стихи. Писать ему стоит — поэтические искорки его работа высекает.

В пределах одной статьи невозможно даже кратко остановиться на творчестве молодых поэтов, работающих в Кузбассе. Я попытался высказать свое мнение о стихах четырех авторов. Все они даровиты, молоды — и по творческому стажу, и по возрасту; это дает нам право ждать от них новых поэтических открытий, новых хороших и отличных стихов, которые бы запомнились и на долгие дни стали нашими добрыми спутниками.

НИКОЛАЙ САМОХИН



КОТИКОВАЯ ШУБКА



ИНОВИИ! Скоротечкин был явлением нетипичным. Даже сам себя он не считал писателем. Зиновий сочинял короткие, похожие на анекдоты, рассказы и расписывал их по карманам, а поймав в коридоре дома литераторов какого-нибудь маститого, загонял его в угол и конфузливо бормотал:

— Вот послушайте... штукенцию.

Маститые слушали штукенцию и говорили: мило, свежо, талантливо. Но в конце обязательно добавляли:

— Только до каких же пор, Зиновий, ходить вам в молодых да метких? Надо, дорогой, глубже пахать. Широкозахватнее, так сказать. Чувствуете, как она пульсирует, эпоха-то?

Зиновий поднимал лохматую голову, слушал пульс эпохи и шел писать очередную штукенцию.

В альманахах Скоротечкина не печатали, в газетах — боялись. Только иногда какой-нибудь тонкий журнал помещал на последней странице два-три его рассказика под стыдливой рубрикой вроде: «мелким бисером» или «зарисовки на бегу». Причем, бойкие литконсультанты говорили:

— Ты бы, старик, роман грохнул. Пора уж. Снимай короткие штанишки. Вон Перегонов-Недогонов опять трилогию выдал. Говорят, здорово отобразил. Не читал?

Зиновий вздыхал и чесал в затылке.

Особенно смутила его как-то одна знакомая редактор. Взвесив на ладони единственную тонкую, как школьная тетрадка, книжку Зиновия, она сказала:

— Ах, Скоротечкин, Скоротечкин! Малогабаритный вы товарищ. Никогда у вашей жены не будет котиковой шубки!

Зиновия эти слова неожиданно взволновали. Не то, чтобы он обиделся на прозвище «малогабаритный», а так — о жене за-

думался. «Может, ей действительно, эту самую шубку хочется, — размышлял он. — Или там боа какое-нибудь. Женщины — загадочные натуры...»

Дома Зиновий долго кружил по комнате, роняя самые неподходящие предметы, потом остановился против жены и спросил:

— Ну, говори: небось, шубку хочешь? Котиковую?

— А на фиг! — фыркнула жена, не отрываясь от газеты.

Скоротечкин почувствовал большое облегчение — жена его понимала. Однако, чтобы не вызвать подозрение слишком поспешным отступлением, он на всякий случай пробормотал:

— Ну, красиво... И вообще... Вон Перегонова-Недогонова носит...

— Странный ты человек, Зиновий! — сказала жена. — Для чего мы развиваем химию? Для чего все эти усилия? (Супруга Скоротечкина была радикальной особой). Если уж тебе пришла в голову такая варварская идея, то купи мне нейлоновую шубку — и дело с концом.

— Кстати! — оживилась она. — Еще останется на пианино. Вовке нужен инструмент. У него данные. Ты слышал, как он поет про собачку Жучку?

Тут Скоротечкин осторожно заметил, что на пианино денег, пожалуй, не хватит.

— Ничего, — утешила его жена. — Купим сначала шубку.

— Видишь ли, — сказал Зиновий. — Дело в том, что на шубку тоже... то есть, если, конечно, продать холодильник и книжный шкаф...

— Ты что, издеваешься! — сказала жена и совсем нерадикально расплакалась. — В конце концов, я тебя за язык не тянула — сам предложил. И не смей сравнивать меня с Перегоновой! У нее муж — настоящий писатель! Он холодильниками не торгует!

И Зиновий вздрогнул. «А что, — подумал он. — Напишу роман. Широкозахватный. Пульс эпохи отражу. И все такое прочее. Грохну, как Недогонов...»

Теперь Скоротечкин не сочиняет шуток. Никто больше не говорит ему: мило, талантливо, остроумно. Зато все говорят:

— Вы слышали? Зиновий-то опять эпопею выдал. Говорят, здорово отобразил. Не читали? Что? Недоотобразил? Ну, ничего, в следующей доотобразит.

НЕНОРМАЛЬНЫЙ

Посетитель вышел от моего начальника и, что-то мурлыча себе под нос, стал надевать плащ. Видимо, визит его был приятным, потому что он великодушно сказал:

— А ведь я вас где-то встречал. Только вот где — не помню.

— Как же, — сказал я. — Встречали, встречали. Не то, чтобы вы меня, а правильнее будет сказать — я вас. Даже фамилию помню. — Я назвал фамилию.

— Верно, — польщенно улыбнулся он. — Я тот самый. Так где же это было? Напомните.

— А вы нам одно время читали ужасно глупые лекции, — сказал я.

— Не может быть, — смеялся он.

— Да как же не может! — запротестовал я. — Там еще, помню, была такая дурацкая фраза... — И я привел фразу.

— Вы меня, наверное, с кем-то путаете, — бледнея, сказал посетитель.

— Как бы бы не так! — воскликнул я. — Спутаешь вас! Вы же один такой на институт были. Бывало, как разведете ахиною — мухи дохли!

— Странно, — пробормотал посетитель. — Мне раньше никто ничего подобного не говорил.

— А вот это действительно странно, — сказал я. — Я ведь не один вас слушал.

Со мной рядом обычно сидел (я назвал фамилию). Он теперь занимает (я назвал должность).

— Да, да, — сказал посетитель, невольно подтягиваясь. — Знаю Кирилла Мефодьевича. Блестящая карьера...

— Вот-вот, — обрадовался я. — Он, между прочим, на ваших лекциях всегда спал. С открытыми глазами. Это у него такая студенческая привычка была.

— Однако! — возразил посетитель. — Вчера к себе вызывал — хоть бы слово.

— А деликатный человек, — заметил я. — Да вы не переживайте — еще скажут.

— Не думаю, — сухо ответил посетитель и вышел.

* * *

Через полчаса мне позвонил Кирилл Мефодьевич.

— Ты чего это напел Фукушанскому? — недовольным голосом спросил он.

— Ничего такого я ему не напел, — ответил я. — Сам привязался: где да где он меня встречал. Ну, я и напомнил... Между прочим и про твоё отношение выложил...

Кирилл даже застонал в трубку:

— Ты представляешь, что натворил! Мы его сейчас выдвигаем председателем комиссии по борьбе... А после твоего безобразного поступка что прикажешь делать?

— Господи, Киря! — сказал я. — Как это — что делать? Не назначать — и все.

Зачем его в председатели — такого дурака?!

— Тебя не спросили! — рассердился Кирилл и повесил трубку.

Спустя еще некоторое время позвонил Сафрон Платонович.

— Товарищ Мочкин? — спросил он. — Это как же вы себя ведете, товарищ Мочкин?!

— А как я себя веду? — сказал я. — Как обычно.

— Значит, обычно так ведете? — ужаснулся Сафрон Платонович. — Ну и ну!.. Докатились!

И, наконец, раздался звонок от самого Льва Измайловича.

— Кто?! — брезгливо спросил он. — Мочкин? Это что же — тот самый Мочкин?..

И дальше разговаривать не стал. Велел пригласить моего начальника.

— Понимаю... Понимаю... Понимаю... Понимаю! — четыре раза повторил в трубку начальник, метнув в меня соответствующее количество покашливающих взглядов.

...К вечеру в коридоре вывесили приказ: «...старшего инспектора Мочкина уволить по сокращению штатов».

Возле приказа столпились сотрудники.

— За что это сокращают беднягу Мочкина? — спросил один.

— Да, он выбухал дураку Фукушанскому, что тот дурак, — пояснил другой.

— Вот кретин, — сказал первый.

ЛЕТО НА ВЕРЕВОЧКЕ

ДИЛЕТАНТЫ

КОГДА мы проезжаем на троллейбусе по мосту, а под мостом сидят на кукурышках рыбаки-подледники, мой лучший друг Жора Виноградов печально говорит:

— Какие странные люди! Какие упрямые романтики! Мне кажется, что за их веревочки привязано лето. Кругом

снег, холод, а они сидят и стараются выудить солнышко, тепло, зеленую травку и желтый песочек.

Жора — лирик. И холостяк. По субботам он долго ужинает в ресторане, а по воскресеньям запирается на ключ, курит и сочиняет стихи.

Мороз и солнце — день чудесный.

В куржак оделся лес древесный.

— Лето! Песочек! — взорвался как-то Жорин шеф Сергей Семенович, оказавшись

с нами в троллейбусе. — Ах вы, дилетанты! Ах вы, бледнолицые самоубийцы! Ах вы, никотинщики! Что вы понимаете?

— Ну, погодите! — пригрозил он нам на прощанье. — Я вас заставляю подержаться за эту веревочку! Я вас приобшучу! Я из вас сделаю настоящих мужчин!..

ЖОРА ПРИОБЩАЕТСЯ

Оказывается, Сергей Семенович не бросал слов на ветер. Жора второй вечер сидит дома и насаживает какую-то железяку на черенок от лопаты. Посбивал все руки. Исковырял пол.

— Значит, поедешь? — спрашиваю я.

— Наседает старик, — жалуется Жора. — За горло берет. Велел пешню делать. Чертеж вон принес.

Действительно, над Жориной кроватью висит чертеж пешни. На чертеже она стройная и кровожадная, похожая на казацкую пику. У Жоры получается что-то среднее между долотом и кочережкой.

— Погоди, — говорит Жора, — он и до тебя доберется. Не обрадуешься.

ЖУЧКИ-ПАУЧКИ

Сергей Семенович добрался до меня в субботу.

Только я сел ужинать, как раздался телефонный звонок. Я снял трубку.

— Ну, готовы? — нетерпеливо спросил Сергей Семенович.

— А в чем дело? — поинтересовался я, дожевывая котлету.

— Как в чем! — сказал Сергей Семенович. — Сейчас берем такси и едем за червяками.

— За какими червяками? — спросил я обессиленно и почувствовал, как котлета становится поперек горла.

Сергей Семенович сказал, что подробно-сти в машине, что он звонит из автомата и что вообще дорога каждая секунда.

Голос у него был такой, словно он общался о всеобщей мобилизации. Я оделся и вышел. У подъезда уже стояло такси, а возле него приплясывал Сергей Семенович.

— Ну, давай, давай! — засуетился он, подталкивая меня на заднее сиденье.

Потом упал рядом с водителем и командовал:

— Гони! В теплично-парниковый!..

...Черви были отменные: длинные, кормленые, тугие, как пружина. Знакомый Сергея Семеновича выдавал их поштучно.

— Ах, красавцы! Ах, симпатяги! — бормотал Сергей Семенович, принимая червей и запихивая их в термос с подогретой землей.

На обратном пути он успокоился и даже заявил, что вообще-то черви — это так, баловство, забава. А главная наживка в зимнее время — мормыш.

— Что мормыш, — неожиданно вмешался шофер и стал расхваливать каких-то жучков-паучков с длинным латинским названием.

У ЛУНКИ

— Попробуем здесь, — махнул рукой Сергей Семенович.

Жора взял пешню наперевес и яростно бросился на штурм ледяных торосов.

У меня пешни не было. Сергей Семенович провертел мне две лунки своим буром и сказал:

— Ну, я пошел. Вон за ту косу.

Я размотал удочки, опустил в воду лески, поднял воротник и вытащил из-за пазухи «Графа Монте-Кристо».

Жора долбил лунку.

Читать не пришлось. Вдруг задержалась леска на одной из удочек. Потом — на второй. Потом лески стали дергаться не переставая. Кто-то энергично съедал моих червяков.

Я снял варежки, придавил их «Графом Монте-Кристо», засучил рукава и поклялся выловить этого нахала.

И выловил. Им оказался маленький колючий ерш. После этого дело пошло. Я поймал двух горбатых окуней и еще какую-то рыбину, серебристую, с красными глазами.

Жора долбил лунку.

Когда я вытащил девятого окуня, ко мне подошел усатый рыбак в пестрой дохе и завистливо спросил:

— Первый раз? —

— Первый, — сознался я. — А что?

Усатый рысью взбежал на сугроб и, сложив ладони рупором, закричал:

— Эгей! Ребята! Он первый раз ловит!

Тотчас из-за сугроба вылезли ребята, расставили вокруг меня свои агрегаты и начали деловито сверлить лед.

Жора долбил лунку.

— Ух, хорошо! — выдохнул он, бросая пешню. — Замечательно! Великолпно! Мороз и солнце! День чудесный!

Тут из-за торосов вышел заиндеветый Сергей Семенович. Он тащил за шиворот поджавшую хвост щуку.

— Вот это да! — сказал Жора. — Вот это ну! — побежал к своей лунке и тоже выудил какую-то мелюзгу.

— Хорош окунек? — гордо спросил Жора, показывая добычу.

— Ничего, — согласился Сергей Семенович. — Только он чебаком называется.

РЫБНЫЕ БЛЮДА

Праздновали мы свое приобщение у меня. Жена постаралась. На столе была ры-

ба под маринадом, фаршированная щука, булькала настоящая рыбацкая уха, приготовленная по книге о вкусной и здоровой пище, румянились на сковородке жареные окуни.

Сергей Семенович выпил первую стопку и закусил помидорчиком. Потом опрокинул вторую и моймал вилкой маринованный грибок. После третьей он потянул к себе блюдо с картошкой.

— Рыбку-то что же вы, — ласково сказала жена, подвигая ему заливное.

Сергей Семенович вздрогнул и переменялся в лице.

— Терпеть ее не могу, — брезгливо сказал он. — Ни в каком виде.

ЕВГЕНИЙ БУРАВЛЕВ

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

Один спесивый индивидум
Вознесся вдруг под облака —
И враз повадками и видом
Стал походить на индюка.

Из года в год грозил павлин
Испечь свой первый чудо-блин.
И по секрету врал знакомым:
«Вынашиваю — чтоб не комом».

Он никогда б не покорил
Ступень с такою высотой,
Когда бы не было перил
У этой лестницы крутой.

О нем молва: «Во лбу — семь пядей!
Как за стеной — за этим лбом!»

И неспроста: на пядь по дяде —
Шесть замов и один старпом.

Он тему взяв, как полагается,
Год, пять сидит — и хоть бы хны!
Бывает. Парит кура яйца,
А на поверку — болтуны.

Извлек урок он, и теперь
В сужденьях — сама трезвость:
Пред тем, как взять, семь раз отмерь,
Чтоб все за раз отрезать.

...Хитер, собака, спору нет —
Ведь за семь бед — один ответ!



КОПЫТО ПЕГАСА

ВЛАДИМИР МАТВЕЕВ

ВОРОБЕЙ О СОЛОВЬЕ

Он как певец,
Положим, и велик,
но где ему
до «чик-чи-рик»!

ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ В СПОРЕ

О дураках
спор разгорелся шумный.
И самый мудрый
высказался так:
— Дурак — не то, что не дурак.

А не дурак — не то, что умный.
Нашли все истину
в суждении таком
и восхитились...
мудрым дураком.

РЕТИВое НА ЛАДОНИ

...Только ты от этого, мой друг,
Не подумай плохо о чалдоне, —
Да, суров он,
Да, на слово скуп,
А душа, а сердце — на ладони.
...Лишь бы люди — богаче...

(Евг. Буравлев, сб-ки «Узнаю тебя,
друг...» и «Моя работа — моя
любовь»).

Быть на слово скупым по-чалдоньи
Суждено во Сибири не всем:
Языкасты лирики ноне,
Я один, как харнус, нем.
Презираю натуры педоньи,
Прячут сердце под шкурой, хамье!

Не могли сомневаться в чалдоне —
Трепыхаясь, на жесткой ладони
Возлежит ретивое мое.
Весь я настежь. А как же иначе! —
Лишь бы люди —
нутром побогаче.

ВДУМЧИВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Поэту от него досталось:
— Поменьше в образах грешни.
Ты пишешь:
«Вьюга разгулялась»...
А на какие же гроши?

ВИДЕНИЯ НА ВЕРХНЕМ ШЕСТКЕ

Екнуло сердце, тоскливо зануло.
— Кать? Ты читала «Айвенго»?
А Кать?..
— Руло тэ руло... руло тэ руло...
Рано полез я на верхний шесток.

(А. Пинаев, сб. «Синегорье»).

Я задремал, притулившись сутуло.
Верхний удобен шесток не вполне.
Поезд грохочет. Руло тэ руло.
Слышу, идет разговор обо мне.
Екнуло сердце, тоскливо зануло.
— Кать? «Синегорье» читала?
А Кать?

— Да, пролистала. Пишет чудило
Так себе... Средне...
— Брось, Катька, лгаты!
Ты о Ефимыче явно загнула:
Сочные образы в каждом стишке.
Руло тэ руло. Руло тэ руло.
...Черт-те что снится
На верхнем шестке.

СИБИРСКИЕ МАСШТАБЫ

А. Срывцеву, автору книжек
«Хозяйка сибирского тракта» и
«Шагал по земле человек»

Героев любых в достатке,
А вот не дождетесь вовек,
Когда же на авторском тракте
Кузбасский мелькнет человек.

ОБЪЕКТИВНО О ДЕТЕКТИВЕ

В. Рудину, автору повести
«День «Икс»»

Прочитай «Икс». Претензий нет.
К сердцам находит детектив дорогу.
А где же «игрек»?

Где же «зет»?
Не будут?
Ну и... слава богу!

Редактор **Е. БУРАВЛЕВ**

Редакционная коллегия:

**В. В. БАННИКОВ, В. М. БАЯНОВ,
П. И. БЕКШАНСКИЙ, В. А. ИЗМАЙЛОВ,
Г. Л. НЕМЧЕНКО**

О. П. ПАВЛОВСКИЙ (ответств. секретарь)

Номер оформил художник **Г. ЕФРЕМОВ**

На вклейках репродукции с картин
художника **И. ФИЛИЧЕВА**

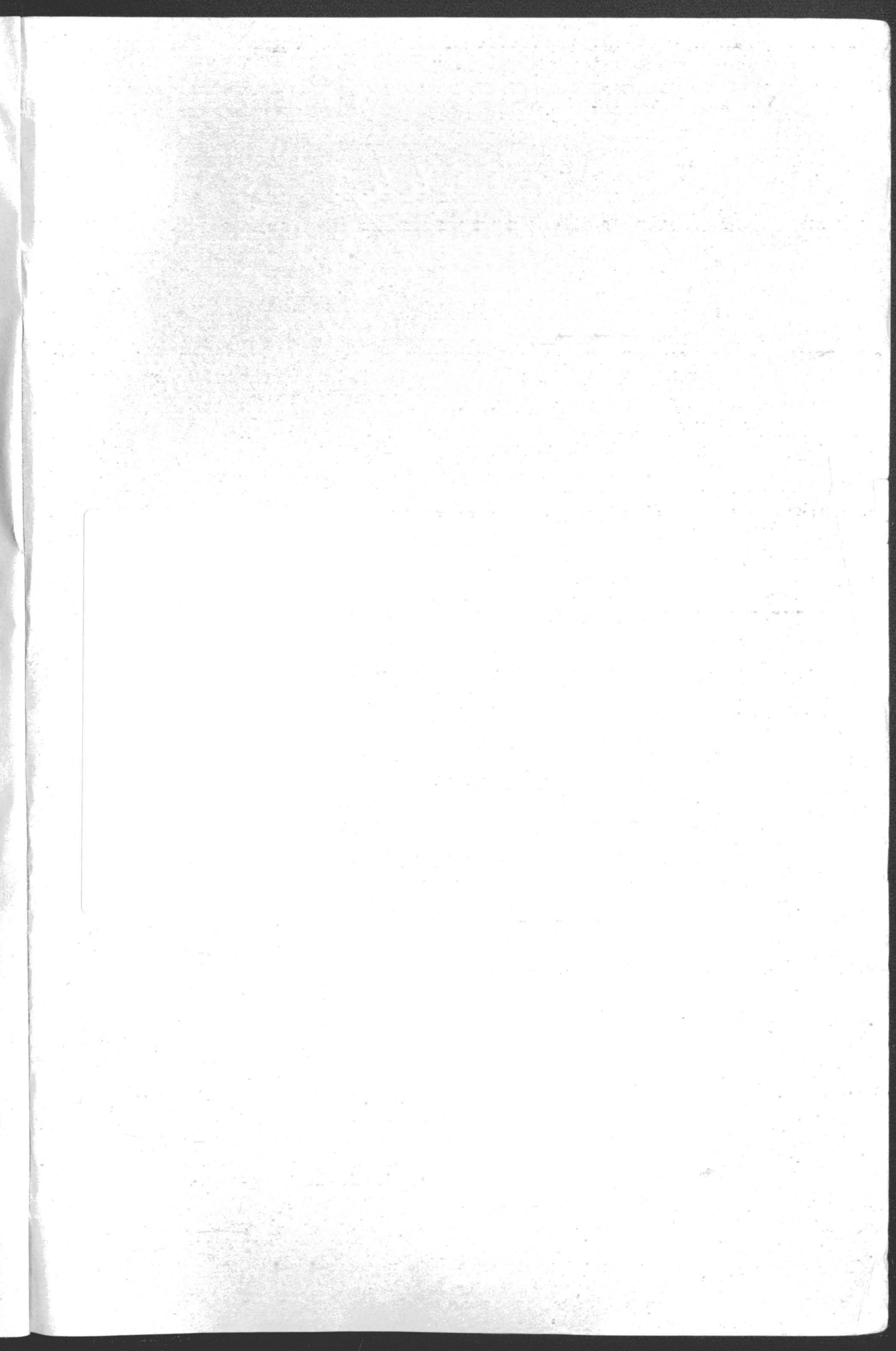
Художественный редактор **О. Красова**
Технический редактор **Г. Рудина**
Корректор **Е. Тимошук**

* * *

Сдано в набор 23. XI—1966 г. Подписано к печати 31.V.1967 г. Формат 70×108¹/₁₆.
Печатн. л. 10,5 приведенных +2 вклейки. Уч. изд. л. 10,42. Бумага типографская № 2. Тираж 5000 экз. Заказ 7634. Цена 36 коп. ОП00371.

Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Советский пр., 94.

Типография № 1. Кемерово, Кузнецкая, 9.



ОГНИ КУЗЬБАССА

кемерово * 1967



Цена 36 коп.